

ИВАН ЕВСЕЕНКО



ДМИТРИЕВСКАЯ СУББОТА

ПОВЕСТЬ

*Дмитриевская Родительская суббота —
день поминовения усопших воинов.
(Православный календарь)*

Еще рано по весне, как только растаяли снега, неподалеку от деревенского кладбища, в березовой роще, что положим бугорком возвышалась над окрестными полями, начались строительные работы. Вели их какие-то чужие, заезжие люди, не то турки, не то казахи, все в одинаковых добротных спецовках желто-глинистого цвета. Они подогнали к березняку несметное количество землеройной техники: малых и больших бульдозеров, тракторов, экскаваторов и буровых установок. В две-три недели эти турки или казахи разбили рощу на квадраты, вырезали, где требовалось, белоствольные раскидистые березы, и начали в тех квадратах рыть неглубокие ямочки-могилы, укладывая вдоль них на изготовке короткопалые, гладко отполированные бетонные столбы с русскими и иноземными надписями на лицевой стороне — надгробные камни.

Слухи о том, что возле Серпиловки будут строить немецкое военное кладбище, ходили давно. Несколько раз в село приезжали всевозможные комиссии из района, из области и даже, говорят, из самой Москвы. В каждой комиссии непременно были представители немецкой, германской стороны.

ЕВСЕЕНКО Иван Иванович родился в 1943 году в селе Займище Щорского района Черниговской области. Окончил Литинститут им. А. М. Горького. Автор многих книг прозы. Лауреат литературных премий им. И. А. Бунина, им. А. П. Платонова, им. И. С. Тургенева "Бежин луг", им. В. М. Шукшина. Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

Они особенно придирчиво приглядывались к местности, что-то записывали и чертили в тетрадках, дотошно расспрашивали через переводчиков главу серпиловской администрации (по-старому — председателя сельсовета), хитровато-услужливого перед начальством мужика Артёма Забойкина, который в обязательном порядке сопровождал гостей.

При появлении очередной комиссии серпиловцы взбудораживались, приступали к Артёму с расспросами насчет кладбища — правда или неправда. Артём, отбиваясь от них, всегда отвечал уклончиво и нетвердо:

— Да это просто так, прикидывают. Может, еще ничего и не будет.

Народ, издавна привыкший начальству верить, мало-помалу успокаивался и вскоре забывал обо всех слухах и прикидках. Других забот было у него сверх всякой меры. Ничто ведь не ладилось в порушенной крестьянской жизни: ни с землей, ни со скотиной, ни с лесными и луговыми угодьями, куда теперь без позволения новых хозяев зайти не смей, гриба-ягоды не сорви, травы для коровы накосить остерегайся. До кладбищенских ли слухов нынешнему крестьянину...

Но вот всё самым достоверным образом подтвердилось: понаехали в Серпиловку турки с казахами, обосновались посреди поля в шатрах кочевым становищем, и работа в березовой роще, где прежде серпиловцы по праздникам любили отдыхать, водить хороводы-гуляния — закипела.

Дед Витя, тяжело опираясь на палку-крюку и припадая на протез, в ближайший выходной день, в субботу, сходил туда, посмотрел на весь умысел начальства, на турков-казахов и на двух долговязых немцев, которые вместе с нашими прорабами распоряжались стройкой. Шаг в шаг за ними сновал по аллеям Артём Забойкин. Но ни к нему, ни к прорабам, своим и германским, дед Витя подходить не стал. Прислонившись к старой березе, что росла на самой опушке рощи, он с полчаса наблюдал за хорошо налаженной работой иноземных строителей, а потом развернулся и поковылял к деревенскому погосту, огороженному шатким, кое-где уже и подгнившим штакетником.

Суббота нынче была Родительская, поминальная, а у деда Вити давно так было заведено, что в Родительскую субботу он всегда проводывал могилу матери. С собой дед Витя приносил четвертинку водки и самую малость какой-никакой закуски: завернутый в газетку ломоть хлеба, огурец, луковицу, кусочек сала да сваренные в мундирах картофелины — любимая их с покойной матерью еда, на которой они в годы немецкой оккупации только и выжили.

Зайдя за ограду, дед Витя разворачивал газетку на дощатом столике, устойчиво сооруженном на двух дубовых опорах, ставил четвертинку-чекушку и специально заведенную им для кладбищенских таких походов граненую стопочку. Но сразу к поминальной трапезе он не приступал, а с полчаса сидел на лавочке подле стола и молча глядел то на повитый белым вышитым рушником крест, то на песчаный бугорок-могилку, на которой в летнюю пору всегда росли посаженные женой деда Вити, Ольгой Максимовной, многолетние цветы-петушки, а в зимнюю лежали глубокие белые снега.

Наконец дед Витя наливал стопочку, поясно склонял обнаженную свою пепельно-седую голову перед крестом и песчаной могилой и, обращаясь к матери, говорил ей всегда одни и те же, совсем вроде бы не поминальные слова:

— Ну, вот, мать, мы и свиделись!

— Дай-то Бог! — тоже одними и теми же и тоже не поминальными, не скорбными словами отвечала ему мать.

Дед Витя выпивал стопочку, осторожно закусывал и, теснясь спиной к ограде, ожидал продолжения разговора с матерью. И он непременно возникал.

— Отец не вернулся? — спустя недолгую минуту, тихим, но таящим в себе надежду голосом спрашивала мать.

— Нет, не вернулся, — не смел скрывать от нее правду дед Витя. — И дядя Петро, и дядя Андрей, и дед Степан тоже не вернулись. Сто четыре человека не вернулись.

Мать умолкала, и с каждым разом все тяжелей и печальней. Но вскоре опять окликалась и наказывала деду Вите:

— Ты сходи, тетку Соно, тетку Валию и детей проведай.

— Сейчас схожу, — послушно отвечал дед Витя и, захватив четвертинку со стопочкой, действительно шел через неширокий прогал-просеку к соседним могилам, где в одном ряду стояли два больших, взрослых, и пять маленьких, детских, крестов.

Он останавливался возле них, выпивал стопочку за упокой души тетки Сони и тетки Вали. Потом делал два шага в сторону, наливал еще одну стопочку и говорил, обращаясь к маленьким крестам и маленьким бугоркам, под которыми лежали бывшие его ровесники и погодки, сыновья и дочери тетки Вали и тетки Сони: Гриша, Коля и Нина Слепцовы и Лида и Ваня Борисенко:

— Мир вам и покой, ребята!

Слова были, конечно, стариковские, до конца малым детям, наверное, и не понятные. Но других у деда Вити не находилось. Деля на пять равных глотков стопочку, он тоже с низким поклоном выпивал ее и возвращался назад к матери.

* * *

Когда началась война, Витьке исполнилось всего пять лет, но он помнил это начало до самых малых подробностей. На шестой или на седьмой день отцу и многим другим серпиловским мужикам пришли мобилизационные повестки из военкомата. Долгих проводов, как это случалось раньше, в довоенную пору, когда отправляли на службу в Красную Армию молодых деревенских ребят, никто не устраивал. Собиралась самая ближняя родня, да соседи выпивали, кто сколько мог — и на том все прощание. Война ведь застала всех врасплох, в самую жаркую сенокосную пору: впрок не было заготовлено ни самогонной водки, ни вдосталь закуски. Да и какие там гуляния, песни и пляски (это после так лишь в книжках писали да в победном кино показывали), а на самом деле — одни только слезы и плач. Прощались скоро и скорбно: не на увеселительную прогулку уходили мужики — на войну, где смерть и погибель ожидали их на каждом шагу. Уходили, считай, из каждого деревенского дома, и родные с соседями иной раз душу и сердце рвали, не зная, кого в первую очередь провозжать.

У Витькиного отца на сборы и провода и вовсе времени не осталось. Был он в селе человеком заметным и во многом даже незаменимым — лучшим из лучших соломенным кровельщиком. Его так все и звали в Серпиловке — Василий Кровельщик. Ржаною, кулевого обмолота соломою (а есть еще и обмялица, то есть мятая и ломаная, которая годится лишь на подстилку скотине) никто надежней отца покрыть деревенский дом или сарай не мог. Иные хозяева, задумавшие обновлять крышу, случалось, ждали его по полгода, не доверяя другим, не столь удачливым и искусным мастерам.

За неделю до начала войны своей очереди дождался на дальнем конце села, в подлесье хозяйственный, дореволюционной еще закалки мужик Афанасий Демьянович, друг и однополчанин погибшего в гражданскую войну Витькиного деда по отцу — Михаила.

Каждое утро отец, приспособив за пояс топор, а под мышку главный инструмент кровельщика — трепицу (деревянную, в метр длины, дощечку с ухватистой ручкою и забитыми по одному продольному торцу в виде гребешка гвоздиками с обрубленными головками), отец шел в подлесье. Напрашиваясь ему в помощники, Витька часто увязывался за отцом и действительно, как мог, помогал: пробовал крутить перевясла, связывать маленькие парные кулики, которые кладут первым рядом, в подстрешье, бесстрашно взлетал по крутой лестнице, чтоб подать отцу напиток студеной колодезной воды, квасу или сыворотки. Но не столько, конечно, помогал, сколько, глядя на отца, научался мудреной и нелегкой работе кровельщика (после наука та содтилась, сам не одну крышу в Серпиловке накрыл и перекрыл) да веселил его своим детским неостановимо-бойким гомоном.

Дом у Афанасия Демьяновича был большой, на две комнаты: горница-светелка и кухня, к которой примыкали просторные рубленые сени и камора-кладовка. Крыша на таком доме возвышалась четырехскатная, с островерхим, взлетающим в небо коньком. Работы на ней отцу с Витькой предстояло много. Словно предчувствуя беду, они старались изо всех сил, но все равно не успели. Когда пришло известие о начале войны, и отцу принесли из военкомата повестку, они накрыли всего четверть этой крыши. Если по-хорошему, то отцу надо было бы бросить заказ да перед уходом на войну привести в надлежащий порядок всё у себя в доме: починить заботы, до которых прежде за чужими заботами не доходили руки, заготовить впрок дров (мать, оставшись одна с малолетним Витькой, как сама заготовит?), перевести с луга недавно только сметанный стожок сена (опять же, как матери одной будет с ним справляться?), но Афанасий Демьянович слёзно просил отца довести до ума его крышу. Ведь взамен ему придется звать какого-нибудь старика-кровельщика, у которого уже и сил нет, и умение растеряно. Накрытая им крыша через год-полтора просядет на стыках, начнет подтекать и сгниет раньше отведенного ей срока. И отец не мог не уважить слёзной этой просьбе Афанасия Демьяновича. Все последние перед расставанием с семьей дни пропалал он возле его дома и завершил кровельную свою страду, выложил островерхий конек в самый канун отправки новобранцев в район. Витька на той, считай, уже военной страде был неразлучно с отцом, и так и запомнил его высоко стоящим с трепицею в руках на крыше, молодого, красивого и сильного, в вольно развевающейся на июльском ветру рубахе, в выгоревшем на солнце, почти белом картузе, из-под которого выбивались волнистые его светло-русые волосы.

Вечером они ходили с отцом к реке мыться и купаться. Долго плавали в теплой, потемневшей к ночи воде, ныряли и выныривали, игрались в прятки, и Витька опять восхищался своим отцом: его крепким загорелым, как у всех деревенских мужиков, лишь по шее телом, на котором при каждом движении бугрились тугие, будто железные мышцы — и тоже запомнил вечернее то купание с отцом до самой последней мелочи.

Когда они вернулись домой, мать накрыла в горнице прощальный стол. Уже при свете керосиновой лампы они всей малой своей, но такой сплоченной семьей посидели, наверное, часа два. Отец с матерью выпили по рюмке водки, а Витька полный стакан хлебного, почти хмельного квасу. Мать несколько раз, глядя то на отца, то на Витьку, начинала плакать, вытирать глаза кончиком фартука. Отец останавливал ее и даже как будто сердился:

— Ну что ты плачешь, что плачешь?! Даст Бог, вернусь. Главное, парня береги.

— Да нам-то что, — обнимая Витьку, крепилась мать. — Кругом люди, народ — не дадут пропасть. Ты себя береги.

— Это уж как получится, — не стал лукавить отец.

Жесткие эти его, но справедливые слова опять-таки запали Витьке в память на всю жизнь...

Утром отец оделся в повседневную свою, порядком обветшавшую одежду: хлопчатобумажные брюки, ситцевую рубаху и серенький, с двумя заплатами на локтях пиджак. А вот с сапогами у него вышла заминка. Они были совершенно новыми, только по весне пошитыми из добротной яловой кожи деревенским сапожником дедом Кузьмой. Отец наматал портянки и начал уже было обуваться, но потом посмотрел на сапоги каким-то особым, оценивающим взглядом, помял в руках голенища и вдруг сказал Витьке:

— Принеси-ка мне из сеней лапти.

— Да ты что?! — изумилась и опять заплакала мать. — В лаптях на войну пойдешь?!

— Пойду, — вполне серьезно ответил отец. — Меня босым на фронт чай не отправят, а тебе сапоги здесь пригодятся: и сама при случае обуешь, и Витька, когда подрастет, в школу в них ходить будет.

Мать заплакала еще сильнее, стала еще настойчивей отговаривать отца. Но Витька, не всё понимая в их разногласиях, послушаться отца не посмел, прожогом бросился в сени и снял там с гвоздика целую связку лаптей.

В те, довоенные годы, мужики в деревне лапти носили еще часто. Особенно в сенокосную пору или во время жатвы, когда в лаптях ходить и прохладней и мягче. Обувал их иногда и отец на кровельные свои работы, оберегая новые сапоги, которые можно было оцарапать и поранить колючей и острой кулевой соломой.

Из принесенной Витькой связки отец выбрал поношенные, не раз уже бывшие в употреблении лапти (чтоб ноги не натереть, как объяснил он матери), заново перемотал портянки и, обувшись, туго, крест-накрест переплел их высоко по щиколоткам и голениям конопляными веревочками.

— Чем не солдат?! — стараясь развеселить мать и Витьку, гулко приотпнул он, прихлопнул лыковыми лаптями по глинобитному полу.

Мать на это только вздохнула и покачала головой, а Витька и вправду развеселился и по малолетству своему и слабому разумению подумал, что отец в лаптях собрался вовсе не на войну (ни одного солдата на газетных картинках и на плакатах, что висели в сельсовете, он в лаптях не видел), а на привычную свою заказную работу. Сейчас он возьмет в повети трепицу, топор, и они пойдут с ним опять в подлесье или на дальнюю луговую улицу и начнут перекрывать у кого-нибудь из мужиков, с которыми у отца на этот счет есть договоренность, дом или сарай.

* * *

Но пошли они совсем в иную сторону, к сельсовету, где был назначен сбор всем новобранцам. Вместо трепицы и топора отец забросил за плечи приготовленный матерью мешочек-торбочку с парой запасного нательного белья и едой на трое суток, как о том было написано в повестке. Минуты две-три они по обычаю посидели на дорожку (чтоб она была удачной и счастливой) в полном молчании на лавке и вышли во двор. Отец взял Витьку за правую руку, мать — за левую, и так, в неразлучной цепочке, они и добрались до сельсовета.

Там уже было полным-полно народу. Вдоль забора стоял конный обоз подвод на десять, на котором предстояло везти новобранцев в район. Многие женщины собирались идти вслед за ним до самого города, чтоб побыть с уходящими на войну мужьями лишние два-три часа. Загорелась сопроводить обоз и мать, но отец остановил и удержал ее:

— Чего ты зря будешь рвать сердце?! Да и Витька истомится.

Мать послушалась отца. Они в последний раз обнялись, припали друг к другу. Потом отец поднял на руки Витьку, поцеловал его и теперь уже ему как совершенно взрослому, самостоятельному мужчине наказал:

— Береги мать! Она у тебя одна.

И больше Витька отца никогда не видел.

От него пришло два письма, но еще из запасного, учебного полка, откуда-то из-под города Серпухова, а вот с фронта — ни единого. Пока отец обучался солдатскому, военному делу и ремеслу, фронт сам пожаловал к ним в село. Четыре дня с короткими привалами шли через него наши отступающие войска, унылые и виноватые перед каждым деревенским домом и перед каждым деревенским жителем, которых они оставляли в полоне, может быть, и на верную гибель.

Вместе с последними разрозненными частями Красной Армии ушел в отступление и Витькин дед по матери Степан Игнатьевич. По возрасту он призыву в армию не подлежал (в самый канун войны деду исполнился пятьдесят один год), но по какому-то особому приказу таких вот, в общем-то нестарых еще, крепких деревенских мужиков поднарядили на колхозных подводах подвезти до соседнего села военное имущество, боеприпасы или раненых бойцов. Дед уехал в расчете вернуться через день-другой, но так и не вернулся. Часть, к которой он был прикомандирован, попала в окружение, и дед остался при ней уже полноправным солдатом, прорвался из окружения и долго воевал рядовым красноармейцем в хоззвезде. Ни одного письма от деда Степана тоже не пришло. До сентября сорок третьего года, пока село

находилось под оккупацией, писать ему письма было некуда. А к тому времени, когда село освободили, он уже погиб. О судьбе деда кратенько рассказал сельский их учитель Иван Петрович, который вместе с ним ушел в отступление, но на войне уцелел, вернулся домой в офицерском уже звании. Витька в старших классах семилетней школы учился у него математике.

А о судьбе отца Витька узнал лишь после войны. Под диктовку все того же Ивана Петровича он написал запрос в военный архив, и оттуда через полгода пришло извещение, в котором сообщалось, что его отец погиб смертью храбрых в декабре сорок первого года, защищая столицу нашей Родины — город Москву.

* * *

Как они с матерью пережили оккупацию, о том дед Витя вспоминать не любит. Всего они натерпелись: и голода, и холода, и притеснений полицаяв, которые деревенских женщин, вчерашних колхозниц, вместе с детьми гоняли на сельхозработы, заставляя и картофель для немецкой армии, вермахта, сажать, и рожь цепами молотить, и сено заготавливать.

Но погибельного, смертельного дня, что настиг их с матерью осенью сорок третьего года, дед Витя не забудет до последнего своего дня и часа — слишком большими слезами и большой кровью врезался он в его память.

Еще в конце августа стала доноситься с востока далекая, не стихающая ни днем, ни ночью канонада. Вначале глухая, будто грохочущая где-то за горизонтом гроза, а потом все ясней и ясней. Таясь от полицаяв, взрослые и дети прикладывали головы к земле — и было слышно, как она вся дрожит и наполняется непрерывным гулом.

— Наши! — передавалось из дома в дом, из уст в уста.

И действительно, вскоре фронт приблизился вплотную к селу. Бои шли всего в нескольких километрах от него, по берегу реки. Начались бомбежки и артобстрелы. Витька с матерью и прибившиеся к ним ближние соседки, тетка Соня и тетка Валя с детьми прятались в старинном их дедовском погребе, что стоял за сараем в углу двора. Сообща было не так страшно, да и дедовский погреб был надежнее, чем у соседей: кирпично-каменный, с неодолимо крепким, похожим на церковный купол сводом, не то что у тетки Сони и тетки Вали — деревянные, рубленные, правда, из дуба, но уже обветшавшие, готовые обрушиться при отдаленном даже взрыве снаряда или бомбы.

В тот день они с соседями сидели в погребе с самого утра, ожидая и надеясь, что немцы возле реки долго не удержатся и вот-вот побегут через луг и огороды прочь из села, а в него войдут солдаты Красной Армии — наши.

Немцы и вправду побежали скопом и поодиночке, на ходу отстреливаясь и, где можно, поджигая деревенские дома (во время тех поджогов и пожаров сгорел и дом Афанасия Демьяновича с новенькой, не успевшей еще потемнеть крышей, которую перекрыл перед самым уходом на фронт Витькин отец).

Несколько немецких солдат пробежали и через их двор. Дом и сарай они не подожгли, не до того уже фашистам было — наши солдаты неотвратимо настигали их. И тогда немцы сотворили еще более страшное и непоправимое изверство.

Услышав топот и крики отступавших фашистов, мать, тетка Соня и тетка Валя поплотнее закрыли дверцу погреба и велели детям сидеть смирно, не подавая ни единого звука. И уже почти переждали беду, но вдруг самая младшая из детей, двухлетняя Нина Слепцова громко и неудержимо заплакала. Пробежавший мимо немец, должно быть, различил тот плач. Ударом сапога он вышиб дверцу погреба и бросил в его глубину гранату на длинной ручке. Дед Витя до сих пор видит, как она летит из погребного зева (или ему кажется, что видит) и как оцепенели все прятывшиеся в погребе женщины и дети, понимая, что спасения им от той гранаты нет. И лишь одна Витькина мать в последнее перед взрывом мгновение успела толкнуть его за громадную бочку с солеными огурцами и прикрыть своим телом.

* * *

Очнулся, пришел в себя Витька в одном из классов деревенской их школы, где нашим командованием был оборудован полевой госпиталь. На соседних с ним койках лежали раненные солдаты и офицеры, а рядом сидела старшая материна сестра, тетка Анюта.

— Где мать? — первое, что спросил Витька.

Тетка заплакала.

— А остальные? — нашел в себе силы спросить ее и дальше Витька. Тетка заплакала еще сильнее.

И сколь ни мал был Витька, а по тем ее горячим слезам понял, что нет в живых ни матери, ни тетки Сони, ни тетки Вали, ни соседских детей, его сверстников и погодков.

Он тоже заплакал, уткнулся головой в подушку и долго так лежал, глядя на соседнюю койку, где стонал весь в бинтах и повязках пожилой тяжело раненный солдат. Когда же опять повернул голову к тетке Анюте, то вдруг как-то по-мальчишески невпопад, испуганно спросил:

— А я?

— А ты — живой, — обняла его за плечи тетка. — Только ранен в ногу. — Витька отбросил одеяло и увидел, что левая его нога взята в гипс и что ступни на ней и половины голени нет. Он попробовал пошевелить укороченной этой ногой, но все его тело пронизала такая острая, непереносимая боль, от которой Витька снова едва не потерял сознание.

— Терпи, браток, — перестав стонать, приободрил его сосед по койке. — Главное — колено цело. Протез сделают — еще в футбол будешь играть.

Утешительные слова старого солдата-сибиряка по имени Пётр (он умер через несколько дней) тоже навсегда запали в память Витьке. И особенно слово “браток”, которое как бы уравнивало Витьку со всеми ранеными на войне красноармейцами. Хотя, конечно, равняться ему с ними не приходилось: они были ранены в боях и сражениях, а он всего лишь в погребке, где хотел укрыться от этих сражений.

* * *

Сегодня тоже была поминальная суббота. К тому же особая, называемая Дмитриевской. Учреждена она, говорят, давным-давно, в честь победы князя Дмитрия Донского на Куликовом поле над татарами. В эту субботу в первую очередь принято помянуть всех погибших на полях сражений воинов. Дед Витя всегда и поминал их: вначале отца с дедом, потом ближних и дальних родственников, дядьев, старших двоюродных и троюродных братьев, умершего в госпитале у него на глазах старого солдата Петра, которого тоже почитал теперь за родственника, и вообще, как и полагалось и требовалось в Дмитриевскую субботу, всех до единого не вернувшихся с войны солдат, пусть они ему и не знакомые, безымянные.

Мать, теток Соню и Вало и своих ребят-сверстников дед Витя в этот день поминал наравне с павшими воинами. Погибли они, считай, тоже на поле сражения и боя, хотя и были безоружны и никем не защищены от врага-неприятеля, кроме неодолимой своей веры, что рано или поздно неприятель этот будет побежден и наши красноармейские бойцы-защитники вернутся.

Верно это или не верно, грешно или праведно, но поминал дед Витя и оторванную свою ногу. Он представлял, какой бы она выросла во взрослой его жизни, как бы он в летнюю пору ходил на обеих устойчивых ногах босиком, и левая его ступня, точно так же, как и правая, чувствовала бы и прохладную утреннюю росу в сенокосных лугах, и жарко разогретый (раскаленный даже) к полудню песок на уличных тропинках, и каждый-любой корешок и камушек на огородах. А в зимнее, студеное время, обувая сапоги или валенки, Виктор равноценно наматывал бы на обе ступни байковые ворсистые портянки, и, опять-таки, левой ноге в них было бы точно так же тепло, как и правой.

Много и еще чего хорошего представлял дед Витя об этой утерянной своей ноге, которой уже почти и не помнил (какие на ней были пальцы, какой подъем, какая щиколотка). Он только помнил, что обут был в тот день в яловые отцовские сапоги. Старенькие его, еще довоенной покупки ботинки совсем прохудились, и мать, собираясь в погреб, велела Витьке для тепла обуть отцовские бережно хранимые ими сапоги. Случалось, Витька носил их и раньше, наматывая двойные портянки и набивая в передки побольше ветоши и скомканных газет, чтоб сапоги хоть отдаленно подходили ему по размеру.

В погребной сырости Витьке было в отцовских сапогах действительно и тепло, и уютно и совсем не страшно, как будто отец тоже был здесь, рядом, и в любую минуту мог защитить и Витьку, и мать, и соседок с детьми. Он лишь боялся, как бы не повредить сапоги о кирпичи и железную, стоящую внаклон лесенку.

Но повредились сапоги совсем от иного. Во время взрыва гранаты осколками посекло не только левый, но и правый сапог. Его располосовало вдоль всей подошвы и пятки, чудом не задев ноги. Никакой починке изуродованный этот сапог не поддавался, хотя тетка Анюта и носила его к деду Кузьме.

Чем больше Виктор вырослел, тем все больше становилось ему совестно перед отцом, что не уберег он его такие теплые и непромокаемые в любую погоду, почти новенькие еще сапоги. Лучше бы отец ушел в них на фронт, может быть, и уцелел бы, остался жив.

Дед Витя наливал отдельную, особую рюмочку и молча выпивал ее на помин детской своей обутой в отцовский сапог ноги, о которой думал в эти мгновения, как о совершенно живом существе...

* * *

В полевом армейском госпитале Витька пролежал три недели, пока тот не снялся и не ушел вслед за наступающими нашими войсками. Из окошка ему хорошо был виден колхозный двор и бревенчатая конюшня, в которую заперли немецких военнопленных. Их было, наверное, сотни полторы, обшарпанных, злобно-угрюмых, потерявших свой прежний бравый и наглый вид, с которым два года тому назад входили в село.

Рано поутру конвоиры выпускали пленных из конюшни в обнесенный изгородью лошадиный загон. Они брели к стоявшему посередине загона колодцу с водопойной колодой-корытом, кое-как умывались там и брились, жадно пили мутную, взбаламученную воду (иногда прямо из корыта), потом всем скопом подходили к ограде и, прося есть, кричали хором и поодиночке проходившим по улице деревенским жителям:

— Эссен! Эссен!

Голодный их, одичавший рев был слышен по всему селу, и сердобольные женщины, не в силах переносить его, нет-нет да и подсылали к загородке мальчишек и девчонок с ломтем-другим хлеба или с ведерком сваренной в мундирах картошки.

Немцы жадно, влопыхах ели, запивая хлеб и картошку все той же мутной с ворсинками-стебельками зеленого колодезного мха водой. А поев и ополоснув возле колодца ведерко, возвращали его мальчишкам и девчонкам и тоже хором, словно по команде, говорили:

— Данке шён!

А иногда дарили им зажигалки и губные гармошки, показывали фотографии, на которых были изображены их жены и дети.

— Майн фрау, майн киндер! — произносили они охрипшими голосами, тыча себя в грудь.

Раз в два дня приезжала на колхозное подворье полевая солдатская кухня, и повар-красноармеец в окружении все тех же неусыпных мальчишек и девчонок варил для военнопленных кашу из пшеницы или ячменя.

Ребята, часто проводывавшие Витьку в госпитале, приносили ему в настоящем солдатском котелке, который одалживали у повара, наваристой ячменно-пшеничной каши, и она почему-то казалась ему гораздо вкуснее той, что варили для раненых бойцов в госпитале.

Пленные немцы вели себя вроде бы смиренно и послушно, ничем не противореча красноармейцам-охранникам. И, похоже, усыпили их бдительность. Однажды, выбрав глухую дождливую ночь, трое военнопленных вылезли из конюшни через соломенную крышу, перепрыгнули через жердяную изгородь и стали уходить в болотистый ольшаник, который начинался сразу за колхозным подворьем. Но далеко не ушли. Охранники все-таки обнаружили их, бросились в погоню и застрелили всех троих из автоматов на самой опушке ольшаника.

Похоронили немцев там же, на краю болотца. Из военнопленных была выделена специальная похоронная команда, пять или шесть человек. Под присмотром красноармейцев они вырыли три отдельных, не очень глубоких могилы (грунт был топкий и вязкий, сразу проступающий болотной водой), положили туда застреленных, прикрыли шинелями и забросали землей. С позволения конвоиров похоронщики сладили три березовых креста, написали на них химическим карандашом имена убитых и воткнули те кресты в надмогильные насыпи.

Никто из взрослых сельских жителей смотреть на немецкие похороны не ходил. Свидетелями были одни лишь мальчишки. Молчаливой настороженной стайкой они стояли далеко в стороне, смотрели, как расчетливо, сменяя друг друга через равные промежутки времени, работают пленные немцы и как тоже угрюмо молчат наши красноармейцы.

Никто из серпиловцев не заглядывал к немецким могилам и после похорон, не косил поблизости от них болотную траву осоку и камыш, не рубил в ольшанике жердей. Мальчишки тоже обходили это место стороной: рано по весне, в первые майские дни, не рвали сладкую съедобную траву — аир, а в самый разгар лета не собирали ягоду-ежевике, которой на опушке ольшаника было видимо-невидимо. Никакого запрета ни на косьбу, ни на порубку жердей, ни на сбор аира и ежевики никто вроде бы не устанавливал — запрет образовался как-то сам собой, и немецкое это трехмогильное кладбище все больше и больше отчуждалось и от жизни серпиловцев, и от их песчаной, не больно плодородной земли.

Березовые кресты на немецких могилах с надписями на непонятном чужом языке быстро подгнили и куда-то исчезли. А вскоре исчезли и сами могилы: торфяное топкое болото разрослось, расширилось и год за годом навсегда поглотило их. О могилах вспомнили лишь прошлым летом, когда пошли все эти разговоры насчет германского кладбища, и когда по всей округе стали бродить отряды своих и иноземных, одетых в одинаковую камуфляжную форму людей, отыскивая под землей, на месте боев погибших немцев. Но дед Витя все это не касается...

Как только речь заходила о войне, он сразу умолкал, делался мрачным и тяжелым и пил сверх меры водку. Вообще, характер у Виктора годам к двадцати образовался вспыльчивый, с резкими перепадами от нелюдимого молчания и забывтья до каких-то горячечных взрывов. Особенно если он выпивал рюмку-другую. Тогда с ним могла справиться одна только Ольга Максимовна, женщина властная, но добрая. Она двумя-тремя словами унимала распалившегося своего мужа, называя его иногда в шутку, а иногда, если уж сильно доводил ее, так и всерьез “хромым бесом”. Виктор на эти сказанные ею в сердцах слова не обижался. Ругаться-то Ольга Максимовна ругалась, а замуж вышла за “хромого беса” не по принуждению, а по доброй воле и девичьему влечению, послушавшись родителей, которые остерегали ее связывать жизнь с хромым, увечным парнем, да еще такого неумного, вспыльчивого характера. Но она не послушалась их — связала и никогда о том не жалела...

* * *

Нынче дед Витя пришел на кладбище по деревенским меркам не так уж чтоб и рано — в девятом часу. Утро выдалось ясным и солнечным, без единого облачка на прозрачно-голубом небе. Сизо-лиловый туман, опустившийся вчера с вечера на все окрестные поля, на дуга и речку, сегодня к утру

растаял, невидимо рассеялся и лишь в березняке за кладбищем он устоял, зацепившись за багряную позолоту плотной, будто дождевой тучей.

Изредка поглядывая на эту тучу, скрывающую от деда Вити всё, что делалось-творилось в березняке, он развернул на столике узелок, долго устанавливал стопку и четвертинку (раньше, в молодые годы приносил он поллитровку, а теперь уже не та сила и не та возможность), еще дольше чистил картошку в мундире, вчера с вечера запеченную Ольгой Максимовной в подувале лежанки (всегда, каждый год, в одном и том же числе: ровно девять недавно только вырытых на огороде картофелин — для матери, теток Сони и Вали, для малых детей, Гриши, Коли, Нины Слепцовых, Лиды и Вани Борисенко (он клал их на перекладинки крестов, как кладут на Радоницу яйца-крашенки и ломтики пасхального кулича). И одну — для себя.

В начале одиннадцатого дед Витя в последний раз оглядел материнскую могилу (всё ли на ней хорошо и ладно), поправил захлестнутый набежавшим ветром за опору креста вышитый рушник и собрался уже было уходить домой (обещал Ольге Максимовне срубить на пойменных грядках капусту, солить которую на зиму как раз подоспела в эти начальные дни ноября пора), но вдруг он увидел, что со стороны города по осенней пустынной дороге, минуя село и кладбище, движется прямо к березовой раскопанной и растевоженной роще целая кавалькада машин. Впереди, охранно сопровождадая этот обоз, мчался милицейско-полицейский “уазик” с синей угрожающей мигалкой на крыше. Вслед за ней несло несколько легковых, сверкающих на солнце лаком и затененными, будто маскировочными, стеклами машин-иномарок, потом громадный на три двери тупорылый автобус, тоже не нашего производства, заграничный, с заграничными, непонятными надписями по всем стенкам. Замыкали колонну три военных грузовика, крытых брезентом, какая-то затёрханная машинёнка-“Жигули” (как после выяснится, с журналистами телевизионщиками и фоторепортерами) и на почтительном расстоянии от них юркая бытовка, еще с весны хорошо примелькавшаяся в Серпиловке, на которой ездили прорабы, ведавшие работами на будущем немецком кладбище, подневольники-казахи и добровольно набивавшийся им в помощники Артём.

Замедлила ход и остановилась колонна на опушке рощи всего в тридцати метрах от деда Вити. Глядеть на всю предстоящую церемонию у него не было никакого желания. Пусть Артём глядит, коль он прослал таким поборником строительства немецкого погоста, безропотно отдал под него березовую серпиловскую рощу. Может, и вправду ему что-либо от того пособничества обломится: асфальтная дорога до самого дома или какой-нибудь шинок-корчма возле погоста, которым проворный Артём и станет заведовать.

Завернув в лоскутик-полотенце остатки еды и опорожненную чекушку, дед Витя спрятал их в сумку и, поскрипывая протезом, направился к кладбищенским воротам. Но с удалением своим он немного опоздал: со стороны села к березовой роще наперез ему шли-торопились многие деревенские мужики и бабы. Рядом со взрослыми бежали малые и чуть постарше, школьного уже возраста дети, большие охотники до любых происшествий и зрелищ.

Встречаться с мужиками и бабами, вступать с ними в какие бы то ни было разговоры, да еще при детях, деду Вите не хотелось. Он вернулся назад, к материнской могиле, снял шапку и сел на лавочку. Самым тщательным и придирчивым образом он обследовал четвертинку-чекушку: не осталось ли в ней еще хотя бы полрюмочки, чтоб, не произнося уже никаких поминальных слов, просто выпить, пока деда Витю не обнаружил кто-нибудь из бегущих к роще и не стал звать с собой. Но четвертинка была пуста и прозрачна, на слёзы в ней он не оставил ни капли.

Березовую с почти уже опавшими листьями рощу колонна-обоз охватила в широкий полукруг, как будто намерена была держать здесь долговременную оборону. Из “уазика” тут же выскочили бойкие милиционеры-полицейские, вооруженные резиновыми дубинками, и действительно начали организовывать эту оборону. Они перехватили подступивших на опасно близкое расстояние к легковым иноземным машинам деревенских мужиков и баб и указали им место в стороне от рощи, на пустыре, который отделял ее от кладбища.

Мужики и бабы попробовали было о чем-то спорить с милиционерами-полицейскими, но потом, с опаской поглядывая на их черные ребристые дубинки, уступили превосходящей военной силе и покорно заняли указанное место на пустыре. Не подчинились полицейским одни лишь мальчишки-подростки. Обманув их, они проворно взобрались на березы и зависли там грачными говорливыми стайками. Полицейские, запрокидывая головы, что-то прокричали мальчишкам, пригрозились даже дубинками, но снимать не решились: лезть на березы без вспомогательной техники, подъемного крана или хотя бы какой-нибудь лестницы было и высоко и опасно, да и ребятишки никакой угрозы для предстоящей церемонии пока вроде бы не представляли.

Из легковых машин тем временем начали выгружаться гости и начальники (свои и иноземные), все в добротных, тоже будто покрытых лаком плащах и куртках, которые прямо-таки горели-сияли на осеннем утреннем солнце. Первыми из серебристо-белого “Опеля” вылезли, как догадался дед Витя, два самых главных и важных начальника, наш и немецкий (поди, губернаторы или какие-нибудь мэры). Догадаться об этом и вправду было нетрудно, потому что возле “Опеля” в ту же минуту и секунду услужливо засуетились милиционеры-полицейские и всякая иная челядь. Даже дверцу в машине открывали не сами губернаторы-мэры, а юркий охранник-распорядитель, вынырнувший из толпы.

Наш губернатор был совсем еще молодым человеком (может, лет сорока-сорока двух), бодрым, напористым и, как почудилось деду Вите по первым его шагам и движениям, хорошо знающим себе цену.

Немец выглядел годами чуть постарше, с копной густых седеющих волос и крупным, будто переломленным надвое горбинкой, носом. Держался он спокойно, с достоинством, как, наверное, и полагается держаться столь значительному лицу, представляющему за границей свою мощную, сильную державу, с которой считаются во всем мире.

Вслед за губернаторами-мэрами выпорхнула из “Опеля” переводчица, бойкая тонконогая девица в штанах-джинсах, высоченных, с накладками на коленях сапогах-ботфортах и укороченной, словно для равновесия с этими ботфортами, кожаной переполёсой куртке. Чувствуя себя на торжестве-мероприятии едва ли не главнее самых губернаторов, она гордо встала между ними и, с нескрываемым превосходством поглядывая на всех остальных гостей, что-то залепетала-зачастила, хотя ее подопечные, кажется, еще и не начинали никакого разговора.

Из машины, затормозившей рядом с губернаторской, вылезли два генерала: один опять-таки наш, а другой — немецкий. Своего дед Витя легко признал по широким красным лампасам на брюках и непомерного размера фуражке-аэродроме с высоко, почти к самой макушке загнутой тульей (дед Витя давно заметил по телевизору, что у наших военных пошла нынче такая мода: чем выше начальственный чин, тем выше задрана у него тулья). Немецкий же генерал смотрелся поскромнее, но как-то внушительней. Одет он был в парадную светло-мышинного цвета (любимый немецкий цвет) шинель-пальто с тяжелыми, ниспадавшими с правого плеча на грудь аксельбантами. Оба генерала заслуженные (может быть, даже и боевые), в больших армейских или штабных должностях. Сквозь распахнутые полы шинелей (в машине, наверное, жарко, да и на улице — еще не зима) ярко гляделись и у того, и у другого, занимая полгруды, наградные колодки. У немца они были мясистые и увесистые, чем-то напоминающие окурки сигар, зато у нашего наградных (пусть и поуже) колодок насчитывалось вдвое больше, и это уравнивало генералов в их воинских доблестях. Сопровождал генералов военный щеголеватый переводчик, лейтенант или старший лейтенант, в фуражке, понятно, поменьше, чем у генерала, но с тульей, загнутой по-молодому лихо и нахально. Сразу было видно, что он тоже метит в генералы и с годами непременно им будет.

Только вступив на землю, переводчик ненавязчиво завладел вниманием генералов, принялся помогать им в непринужденной беседе, будто связывая в единый узел и цепочку, но превосходства ни над кем не выказывал: человек военный, он четко знал свое место.

Еще из одной машины тоже попарно выбрались два священника. Дед Витя по их одеяниям и по их обличьям и тут безошибочно определил, что один священник немецкий (протестантской или какой там еще веры?), а другой — доподлинно наш православный батюшка. Немецкий пастор был гладко выбрит, худой и поджарый, будто всю жизнь только тем и занимался, что постился. Облачен он был в длиннополую сутану, подпоясанную красным поясом-кушаком. Когда пастор поворачивался спиной, то дед Витя замечал на его затылке тоже красную, похожую на блюдечко шапочку, которая неведомо каким образом удерживалась там. Руки пастора были заняты неустанной работой: правой он размеренно перебирал четки, а в левой твердо удерживал махонькую какую-то книжицу, может, “Библию”, “Молитвослов” или немецкий их протестантский “Требник”.

Наш батюшка росточка был невысокого, но плотненький (с заметно даже обозначившимся брюшком), обросший густой курчавой бородой, длинными, заплетенными в косичку и забранными для удобства под синий клубок волосами. Батюшка оказался более догадливый, чем пастор, и оделся согласно осенней, прохладной уже погоде не только в рясу, а еще и в утепленную скуфейку. Но все эти различия между пастором и батюшкой скрадывали два наперсных, играющих на солнце позолотой креста (точь-в-точь, как наградные колодки у генералов): у пастора протестантско-католический, всего с одной перекладиной, а у батюшки — православный, с двумя, прямой и косой, но издалека, из укрытия деда Вити это почти не различалось.

Переводчик был приставлен и к священникам, согласно их чину и званию не мирской и не военной, а воцерковленный, молодой парень в повседневном походном облачении, то ли уже начинающий, недавно окончивший духовную семинарию или академию попик, то ли какой-нибудь монастырский послушник — они теперь все образованные и грамотные.

Но больше всего деда Витю поразил вылезший из тупорылого расписного автобуса прежде всех иных его пассажиров высоченный немец-старик. Годами, сколько мог различить дед Витя, он действительно был уже древний, но держался бодро и уверенно, не гнулся ни в плечах, ни в спине. В руках, правда, он держал толстую палку с согнутой в полукруг металлической рукояткой-набалдашником. Но выходя из автобуса, палкой этой старик почти не пользовался, а лишь, словно для забавы, поигрывал ею.

На груди у него (куда твой пасторский крест или наградные планки?!) висел здоровенный, тяжелый фотоаппарат с удлинненным, похожим на жерло миномета объективом.

Взойдя на землю, старик поначалу не примкнул ни к генералам, ни к священникам, а стал внимательно оглядываться по сторонам и целиться из своего фотоаппарата-миномета то на рощу (и особенно на мальчишек, повисших гирляндами на березовых сучьях), то на толпу серпиловских мужиков и баб, которых по-прежнему зорко стерегла полиция, не давая переступить запретную черту, и наконец на само село, на шиферные крыши домов, тонущих в деревьях, на реку и на деревянную, увенчанную голубой маковой и узорчатой колоколенкой над притвором церквушку. Церквушка эта, будто заговоренная, уцелела в Серпиловке и во времена гражданской войны, и во время безбожных гонений в тридцатые годы, и даже во время войны Отечественной, когда фронт дважды прокатился над ее неустрашимой маковой и колоколенкой. Деда Витю в серпиловской церквушке, носящей имя Пресвятой Богородицы, когда-то крестили, в ней он, несмотря на все партийно-комсомольские запреты, венчался с Ольгой Максимовной, даст Бог, здесь его и будут отпевать, к чему дед Витя, в общем-то, уже давно готов.

Немец-старик нацелился дальнобойным фотоаппаратом-минометом и на кладбище, поводил жерлом с одного его конца в другой, но, по-видимому, не найдя там ничего достойного запечатления, обронил на грудь и слился наконец воедино с губернаторами, генералами и скорбными священниками. Пока смешанное это собрание вело дружеские, заинтересованные разговоры, делясь, наверное, впечатлением от увиденного, из военного грузовика, словно орехи, высыпались солдатики, но не с автоматами или с каким-либо иным огнестрельным оружием, как того можно было ожидать, а с обыкновенными

лопатами. Выстроившись двумя шеренгами возле дороги, они наскоро выслушали наставления своего начальника-командира и под руководством прапоров (нашего и немецкого) начали выгружать из зелено-пятнистого КРАЗа малые, похожие на детские, гробы-ящички с загодя заколоченными крышками. Подхватывая их на руки, они впробегжку несли не больно тяжкую и обременительную ношу к могилам и устанавливали рядом с бетонными столбиками. Все гробы были обиты черным креповым материалом, и от этого на фоне осенней порыжевшей земли и отливающего багряным цветом березняка гляделись пронзительно остро и болезненно глазу.

Дед Витя начал было считать их (мало ли, много ли нарыли немецких костей-останков), но вскоре сбился со счета, заметив вдруг в толпе Артёма, который безостановочно сновал от одной грушпы к другой, всем на правах хозяина предстоящей траурно-торжественной церемонии жал руки, давал пояснения. Немцам через переводчиков излишне пространно и подробно, а своим кратко и четко, словно на докладе у вышестоящего грозного начальства. Не обошел Артём вниманием и односельчан, приблизился к ним почти вплотную, но здороваться с каждым по отдельности, за руку не стал (их вон сколько набежало — со всеми не поручкаешься), а лишь сказал несколько, судя по всему, веселых и ободряющих слов и отошел к милиционерам-полицейским, которые за какой-то надобностью поманили его к себе. Одет был Артём тоже празднично, но как-то не по-городскому, не по-киношному и телевизионному, а определенно по-деревенски: в сине-блеклую, чуть мешковатую для него куртку при разлапистом, выбивающемся из-за ворота галстуке и фетровую шляпу, которая все время напоззала ему на глаза и которую он явно носить не умел.

Переговорив с полицейскими, Артём опять засеменял в самую гущу гостей, теперь выжидательно наблюдавших, как солдатики по-муравьиному трудолюбиво расставляют гробы, с немецкой точностью выравнивают их в одну строгую линию, но на полдороге он вдруг остановился, глянул в сторону кладбища (нет ли там какого недочета и оплошности, за которую ему, главе сельской администрации, будет стыдно и перед начальством, и перед гостями) и высмотрел-таки сидящего на лавочке за могильной оградой деда Витю. Артём сорвал с головы праздничную свою шляпу и призывно помахал ею, мол, чего там сидишь один, иди сюда, к народу. Дед Витя сделал вид, что зазывных этих его взмахов не замечает. Уклоняясь от них, он подвинулся на самый край лавочки и укрылся за кустом калины, что росла в изголовье соседней прадедовской могилы, с которой и начинался их родовой погост. Куст был рясно усыпан красными созревшими гроздьями (такими красными, кто каждая ягодка напоминала деду Вите капельку застывшей крови). Сравнение это всегда приходило ему в голову по осени, в Дмитриевскую субботу, когда ягоды, иной год уже и чуть подернутые морозцем, пламенели особенно ярко, щемили сердце.

* * *

Из госпиталя Витьку забрала к себе тетка Анюта. Поначалу он передвигался на маленьких детских костылях, которые ему смастерили военные санитары из обломков старых взрослых костылей, а через полгода сосед тетки Анюты, дед Харитон, участник и инвалид Первой мировой войны, вырезал Витьке из осинового чурбачка настоящий пешеходный протез с двумя высоко поднятыми к самому паху и бедру дощечками-лещетками. На таких протезах тогда перемагались многие обезноженные на Первой мировой, гражданской и последней, Отечественной войнах деревенские мужики, у которых сохранилось колено. Поставив его на проложенную войлоком площадочку, они туго привязывали ремнями, а то и обыкновенными бечевками дощечки-лещетки к бедру и ходили на том осиновом подбитом толстою резиною от автомобильного ската протезе иногда даже и без вспомогательной палочки. Мало-помалу приспособился ходить на протезе и Витька. И не только ходить, но и делать в подмогу тетке Анюте любую посильную по его возрасту рабо-

ту: рубить дрова, ухаживать за скотиной, курами и гусями, полоть (стоя, правда, на коленях) картофель и просо. Да что там дрова, скотина и просо с картофелем, Витька даже, помня слова солдата Петра, играл вместе с остальными, здоровыми, деревенскими ребятами в футбол. Не в поле, конечно, не нападающим и не защитником, а вратарем, и ребята к нему особых претензий не имели. Парнем он был юрким, по-обезьяньи цепким, и кидался на мяч под ноги соперникам безоглядно на свое увечье и протез.

Одно было плохо, рос Витька быстро, и на протезе часто приходилось менять резиновые набойки на более толстые, двойные и тройные, а раз в полтора-два года так и сам протез, иначе Витька начинал припадать на укороченную осиновую подпорку.

На ночь он протез отстегивал, давая отдохнуть и колену, на котором постепенно образовалась похожая на подошву мозоль, и онемевшей ноге с туго натянутым на обрубок шерстяным носком-чехольчиком — изобретением тетки Анюты. Но во сне, без протеза, Витька забывал, что ноги у него нет, и несколько раз, в первые по увечью годы, просыпаясь, сгоряча ступал на культу, по-новому, в кровь ранил ее и даже едва не обломал кость. После таких падений тетка порывалась везти его на подводе в районную больницу к хирургам, но Витька ехать напрочь отказывался, боясь, что ему опять будут делать операцию. Он терпеливо отлеживался дома, отмачивал культу в холодной воде, позволял тетке лечить ее единственно верным и незаменимым крестьянским средством — компрессами из листьев подорожника и лопуха. И недели через две-три культура переставала болеть и саднить, опухоль на ней спадала. Витька оживал, вновь вставал на протез, чтоб поначалу осторожно и боязно ходить лишь по дому и по двору, а потом и в школу, которую за время болезни порядком подзапустил.

Так на сменных осиновых подпорках-чурочках Витька перемогался до сорок девятого года. А потом тетка Анюта прознала от фронтовиков, что в областном городе при собесе есть специальная мастерская, где изготавливают на заказ протезы (хоть со ступней, хоть без ступни, с одной лишь костыльной, обутой в резиновый наконечник опорой) для получивших увечье на фронте солдат. Витька солдатом не был, но тетка, выпросив у бригадира подводу, все равно повезла его за шестьдесят километров в область, чтоб заказать там устойчивый, почти что и не отличный от настоящей ноги (по требованию Витьки обязательно со ступней) протез.

По вдовьей горемычной жизни с целым выводком детей, двумя своими, сыном и дочерью, и третьим, приемным, Витькой-крестником (муж ее, дядя Сергей, которого они все так ждали с войны, погиб в начале сорок пятого года), тетка была женщиной многоопытной и предприимчивой. В передок телеги она поставила кошелку с двумя увесистыми кусками сала, с зарезанным накануне поездки и ошипанным петухом, с венком репчатого лука и с мешочком сушеных яблок, груш, слив и вишен. Завернутая в газетку, тайно стояла там, понятно, и бутылка самогона. Тетка Анюта хорошо понимала и предчувствовала, что такие дела, как у них с Витькой, без подобных деревенских подарков не делаются. Получилось, правда, все совсем по-иному...

Протезную мастерскую они отыскивали быстро, хотя деревенский их конек, не привыкший к машинам, трамваям и вообще к шумной городской жизни, шарахался на каждом шагу и едва не поломал оглобли. Но в самой мастерской дело не заладилось. Приемщица, дородная, коротко остриженная и завитая в шестимесячную химическую завивку женщина, выслушав просьбу тетки, наотрез отказала им:

— Делаем только фронтовикам!

— А он что, не фронтовик!? — указывая на Витьку, стала наседать на приемщицу и тетка. — Его немец гранатой поранил! А мать убила!

— Это я не знаю — немец или не немец, — не поддаваясь на ее напор и жалобы приемщица, поди, наслушавшаяся в протезной этой мастерской еще и не таких историй. — Может, он с оружием баловался, вот ногу и оторвало.

Тетка едва не заплакала, но потом всё же сдержалась и решила повести разговор с приемщицей иным образом. Пододвигая к ней прикрытую чистым полотенцем кошелку, она по-деревенски простоудушно сказала:

— Мы отблагодарим.

Приемщица пристально глянула на кошелку, но не соблазнилась ею:

— Не нужны мне ваши благодарности!

Отчего и почему приемщица так себя повела, ни тетка, ни Витька понять не могли. Может, старенькая их обтерханная кошелка показалась ей слишком легковесной, а может, привыкшая и разбалованная на доходном своем месте продуктовыми подарками, приемщица намекала, что надо бы отблагодарить ее деньгами. Но уж чего-чего, а лишних денег у тетки не было (они едва-едва собрали их на протез, откладывая почти целый год Витькину инвалидско-сиротскую пенсию — сто двадцать пять рублей), да она и не знала, сколько надо давать, чтоб приемщица помягчала: сто рублей, двести или много больше...

В общем, все клонилось к тому, что надо было тетке с Витькой возвращаться домой и на время забыть о настоящем фабричном протезе. По крайней мере, до тех пор, пока их изготовят для фронтовиков и дойдет очередь до таких инвалидов, как Витька.

Но тут в мастерскую как раз и зашел, опираясь на палочку, доподлинный фронтовик — степенный мужчина лет тридцати пяти-сорока. тетка, уже действительно вся в слезах, начала жаловаться ему на обиду и несправедливость. Фронтовик быстро разобрался в ее жалобах, вник в положение деревенских неудачливых просителей и приступил с допросом к приемщице:

— Ну, и чего ты парня не запишешь?!

— Не положено! — уперлась та.

— Почему это — не положено?! — для начала вроде бы вполне мирно спросил фронтовик.

— Потому что инструкция! — совсем распоясалась приемщица.

Не обращая больше внимания ни на фронтовика, ни на тетку Анюту с Витькой, который всё это время безучастно стоял в уголке, она стала перекладывать какие-то квитанции, громко щёлкать на счетах, делать записи в толстой амбарной книге.

— Больно ты рыжая и кудрявая! — вдруг не на шутку взорвался фронтовик. — Сейчас пойду в обком, пусть вам тут мозги вправят. Пиши парня вместо меня. Я уступаю ему свою очередь.

Обкомов и райкомов партии тогда боялись еще начальники и повыше приемщицы. Она мигом это сообразила, по одному только виду безногого фронтовика поняв, что этот (может, в прошлом и офицер в значительных чинах, командир) ни перед чем не остановится и действительно пойдет, если не в обком партии, то к заведующему облсобесом. А ей лишние приключения ни к чему.

— Ну, если уступаете, — вняла его угрозам приемщица, — тогда иное дело — запишу.

Проворно, с каким-то особым шиком, так, что даже нельзя было заметить, куда, в какую сторону отлетают те или иные костяшки, пощёлкав на счетах, она назвала цену, которую надо было заплатить за протез, и выписала квитанцию. Цена была не так уж чтоб и большая, но для тетки Анюты с Витькой и не маленькая. Тетка развязала платочек и выложила перед приемщицей все до единой копейки пенсионные их сбережения, да еще и добавила целых десять рублей из дорожных денег.

С обнадеживающей той квитанцией они направились теперь уже в самую мастерскую. Фронтовик и тут вошел в их положение и взялся сопровождать.

В мастерской пахло деревом, кожей и резиной. В дальнем углу стояли два небольших токарных станка, на которых, наверное, вытачивались заготовки протезов. Сейчас они, правда, не работали (может, были сломаны или остановлены на обденный перерыв), чему Витька очень огорчился: токарного станка он сроду не видел, и ему хотелось хоть одним глазком понаблюдать, как на нем вытачивают дерево, а еще бы лучше металл, чтоб после, дома, рассказать о том друзьям-товарищам, которым токарные станки тоже были в диковинку и невидаль.

Вдоль стены за низенькими, заваленными заготовками и всевозможными инструментами столами сидели мастера в кожаных толстых фартуках. Одного из них фронтовик, судя по всему, частый здесь гость, и позвал.

— Роман! — бодро и весело, совсем не так, как разговаривал с приемщицей, крикнул он. — Гляди, какого я привел тебе заказчика!

На зов фронтовика к ним подошел невысокий, щупленький видом мужчина в круглых, совиных каких-то очках. Вскинув их высоко на лоб, он поздоровался вначале с фронтовиком и теткой (Витька заметил, что на правой руке у него недостает двух пальцев: мизинца и безымянного) и лишь потом посмотрел на Витьку, но как-то странно посмотрел: не в лицо, не в глаза, а сразу вниз — на ноги.

— Заказчик как заказчик, — немного утомленно и не в тон фронтовика сказал он.

Расспрашивать Витьку, где и как тот потерял ногу, Роман не стал (тетка, вклинившись в разговор и, словно боясь, что мастер откажет им, в одну минуту всё выложила и объяснила), а, усадив Витьку на табурет, велел ему отстегнуть самодельный протез и оголить культю. С протезом Витька справился быстро, а вот с культей замешкался: долго развязывал штанину и шерстяной чехольчик. Купля была тоненькой и темно-синюшной. Витька, кроме тетки Анюты, редко ее кому показывал, особенно своим ровесникам, ребятам и девочкам, которые при виде ее умолкали и страшились. Видели они ее разве что на речке, во время купания, когда Витька, отстегнув протез, заползал в воду и выползал обратно на берег на коленях, а иногда так и по-пластунски.

Роман придирчиво, со знанием дела, словно врач-хирург, осмотрел и ощупал культю со всех сторон, время от времени спрашивая Витьку:

— Так — не больно?

— Не больно, — торопливо отвечал тот, вслед за теткой боясь, что, если он скажет правду (культя все-таки от жестких прикосновений немного побаливала), то Роман делать ему протез откажется.

— А вот так?

— И так не больно, — терпел Витька.

— Ну и хорошо, — остался доволен осмотром Роман и широко улыбнулся Витьке. — Сладим тебе ногу лучше прежней.

Приезжать за готовым протезом он велел через месяц. Время вроде бы недолгое, особенно летом, когда в школу ходить не надо, и мальчишеские дни бегут быстро и незаметно. Но предприимчивая тетка Анюта начала просить и уговаривать Романа, нельзя ли поторошиться.

— Парень вконец извелся! — жалилась она и опять вспомнила о своей кошелке с подношениями и выпивкой.

От подношений Роман отказался. Но совсем не так, как отказывалась избалованная сытными подарками, кошёлками и оклунками приемщица. Поглядев на измученную работой и вдовьей жизнью тетку, он лишь махнул рукой:

— Да ладно тебе...

А вот от выпивки Роман уклоняться не стал. Он завел тетку с Витькой и фронтовика в тесную каморку-подсобку, заперся на ключик, и они вчетвером распили там (Витьке тоже налили рюмочку) бутылку деревенского хлебного самогона. Чуть захмелев, Роман попросил Витьку еще раз показать культю, повторно ощупал ее пальцами, обмерял портновским метром, записал какие-то цифры на обрывке бумажки и не очень уверенно, но все-таки пообещал:

— Загляните недели через две, вдруг успею...

И не обманул заказчиков — обещание свое выполнил. Когда Витька с теткой через две недели опять появились в мастерской, Роман вынес им первозданно пахнущий кожей, масляным лаком и деревом-березой протез. Не протез даже, а действительно почти что живую настоящую ногу с широкой, в Витькин размер ступней, которая была приделана к щиколотке блестящим, чутким в движении шарнирчиком.

Когда Витька надел протез и встал в полный рост, то сразу почувствовал себя совершенно иным человеком, здоровым и сильным, равным всем остальным, неувечным людям, как будто в одно мгновение вырос из маленького, полудетского еще человечка во взрослого парня и мужчину. При первом

шаге, правда, кулья вспыхнула точно такой же острой, как и когда-то в госпитале, болью, которая не укрылась от Романа.

— Ничего, — попридержал он его за плечо беспалой своей рукой, — это только поначалу больно, а потом привыкнешь...

Когда последний гроб был установлен, и солдатики по указанию начальника-командира застыли наизготове с лопатами и длинными обрезками брезентовых ремней за песчаными насыпями, вся говорливая толпа приезжих хлынула в рощу и плотным кольцом окружила первую в ряду, правофланговую могилу. Среди серпиловских мужиков и баб тоже возникло волнение, и они ринулись было вслед за приезжими, но полицейские строго осадили их, должно быть, вразумительно объяснив, что пока им лучше понаблюдать за всем происходящим издали, а вблизи посмотрят позже, когда могилы будут зарыты.

Мужики и бабы, приученные к послушанию, остались за охранной чертой, вдоль которой неусыпным дозором прохаживались милиционеры-полицейские и несколько молодых крепких ребят в штатском из тайной какой-то охраны высокого областного и московского начальства. Видеть подобных охранников серпиловцам доводилось только по телевизору, и они побереглись вступать с ними в какие бы то ни было переговоры, хотя и милиционеров-полицейских в таком числе и количестве, да еще с дубинками в руках, тоже видели впервые, робели и этих и всё теснее сбивались в молчаливую стайку на опушке березняка, будто коровье стадо в загоне. И лишь несколько самых шустрых и бойких мальчишек безбоязненно просочились сквозь все заслоны и, словно какие лазутчики, приблизились к правофланговой могиле. Их начал было приструнять Артём, но мальчишки легко уклонялись от него, прятались за деревьями, машинами, заводили веселые разговоры с солдатами и казаками-турками. Артём в конце концов махнул на мальчишек рукой (охрана мероприятия — это все ж таки не его забота, пусть милиция-полиция получше сторожит), да ему было уже и не до мальчишек.

Начальство, генералы, священники и все остальные гости-свита изготовились говорить речи перед целым сонмом микрофонов, которые на всевозможных треногах и подпорках установили распорядители и телевизионщики в двух шагах от могилы. Артём, изловчившись, тоже нашел себе место в начальственной и гостевой толпе: нельзя сказать, чтоб слишком уж близко к микрофонам, но и не совсем в отдалении, а как раз так, чтоб его хорошо видели и начальство, и гости и понимали (и по достоинству оценили), что хозяевами они без внимания и опеки не оставлены.

Первым говорил губернатор. Дед Витя сроду с веку не видел его и решил послушать, что он провозглашает. Губернаторские слова, усиленные микрофоном, долетали до него через пустырь гулким, многократно повторяемым эхом. Изредка, правда, микрофон, наверное, по недосмотру связистов или по каким-то иным непредвиденным причинам шипел и потрескивал, искажая губернаторскую речь. Но дед Витя, преодолевая все эти помехи и искажения, хотя и с трудом, но понял, о чем губернатор говорил и хотел сказать. Мол, так случилось, что по вине своих вождей наши народы много лет тому назад вступили в кровавую войну, во время которой с обеих сторон погибли миллионы ни в чем не повинных людей. Теперь настало иное время: немецкий и русский народы живут в мире и согласии, и нам надо взаимно помнить погибших наших сограждан. И если будем помнить, то война никогда больше не повторится.

Примерно то же говорил и немецкий губернатор. Микрофон к началу его выступления был налажен и исправлен: слова теперь летели к деду Вите через пустырь по-немецки отчетливо и ясно. Эхо на все лады повторяло их, множило и уносило поверх деревенского кладбища в Серпиловку и еще дальше, за речку и луг.

Единственно, что сердило деда Витю, так это переводчица. Занятая демонстрацией своих нарядов, она следила за речью важного иностранного гостя рассеянно и невнимательно. Он произносил фразу за фразой без запинок и остановок-пауз, а переводчица постоянно путалась, сбивалась, и перевод-

ные русские слова выходили из ее уст какими-то корявыми, неверно сложенными друг к другу и от этого не всегда понятными. Особенно запуталась переводчица в конце речи, когда гость начал говорить о крови, немецкой и русской, которой было пролито в годы войны очень много, но теперь нам надо взаимно покаяться друг перед другом и взаимно простить друг друга.

Вслед за гражданскими начальниками к микрофону подступили генералы. Говорили они не так пространно и складно, как генералы гражданские, но зато по-военному кратко и доходчиво, словно отдавали приказы и распоряжения. Речи их тоже сильно смахивали одна на другую.

— Солдаты, — вторили один другому генералы, — в войнах не повинны. Они выполняют приказы и платят за эти приказы своими жизнями.

И опять о крови, о памяти, покаянии и прощении.

Генеральские речи переводил военный переводчик-лейтенант, более опытный и ответственный в своем деле. Строгие, будто рубленные слова генералов он доносил до деда Вити с полным вразумлением и каким-то особым гортанным переливом. Чувствовалось, что ему очень нравится немецкий, отточенный и отшлифованный язык, и переводчик, если приходилось делать для гостей обратный перевод с русского на немецкий, произносил каждое германское слово с нескрываемым удовольствием и наслаждением.

Когда генералы отговорили свои воинственно-примирительные речи, пожали друг другу руки и отдали честь, к микрофону стали звать старого немца, который до этого, все так же прицельно поводя со стороны в сторону хоботом фотоаппарата-миномета и словно соревнуясь с телевизионщиками и фоторепортерами, снимал на пленку митингующую толпу. Но старик неожиданно от выступления отказался и даже попятился от микрофонов.

— Наин, наин! — дребезжащим, но неуступчиво-твердым голосом проговорил он: — Данке шён!

Отказные его слова дед Витя понял и без переводчика: “Нет, нет! Большое спасибо!”

Старика принялись наперебой уговаривать и гражданские начальники-губернаторы, и генералы, и даже священники, но он остался непреклонен, еще сильнее замахал руками и, словно в каком-то забыты, опять повторил свое отречение:

— Наин, наин! Данке шён!

“Ишь ты какой,— подумал про себя дед Витя, — робеет чего или стесняется”.

Отказника еще немного поугovarивали и на русском, и на немецком языках (вся эта разногласица долетала через микрофон до деда Вити и почему-то тоже сердила его, хотя, казалось бы, какая ему разница — хочет этот капризный немец-старик говорить или не хочет), но в конце концов оставили в покое. Старик тут же снова подхватил в руки оброненный было на грудь фотоаппарат и, радуясь свободе, зашелкал им навскидку, не целясь, как будто заранее знал, что не промахнется.

Взамен его к микрофонам подтолкнули Артёма.

Тот снял шляпу, прокашлялся и, удивляя многих собравшихся, сказал незамысловатую, но вразумительную речь (он еще с советских времен, когда был в колхозе секретарем комсомольской, а после и партийной организаций, научился говорить складно и вразумительно, чем всегда заслуживал похвалу начальства и аплодисменты собрания). Не подвел начальство Артём и сегодня.

— Собратья! — одним единым словом объединил он всю примолкнувшую толпу. — Мы очень рады, что именно в Серпиловке, где в годы войны шли кровопролитные бои (“И этот о крови” — не ускользнуло от деда Вити высказывание Артёма), устроено кладбище павших немецких солдат. В те далекие годы они были нашими противниками и врагами, а нынче просто погибшие люди. И мы обещаем с достоинством и честью хранить их могилы в полном порядке.

Толпа действительно разразилась громкими аплодисментами и одобрительными разноязыкими возгласами.

— Молодец! — отечески приобнял Артёма за плечо наш губернатор.

— Гут! Зэр гут, — следуя его примеру, похвалил Артёма и обнял за другое плечо губернатор немецкий.

Потом Артёму поочередно пожали руку генералы, и священники вроде как благословили его крестными знаменами. Немецкий — своим, протестантским, слева направо, а наш батюшка своим — православным, широким и размашистым, справа налево. Но этой разницы никто, кроме деда Вити, кажется, и не заметил.

Немец-фотограф столь счастливых, зрелищных мгновений не пропустил: длинной непрерывной очередью он успел заснять Артёма, застывшего в обнимку с губернаторами, пожимающего руки генералам и смиренно стоящего под благословением священников.

Артём от всеобщего повышенного внимания смутился, стал раскланиваться во все стороны, скороговоркой благодарить всех и каждого и незаметно отходить от микрофонов, прятаться за спинами начальства. Свое дело он сделал (и, кажется, неплохо), и теперь ему лучше было скромно затеряться в толпе и не путаться до поры до времени под ногами этого начальства. Оно хорошо его уже заметило и оценило и в нужный момент само вспомнит и снова вызовет в первые ряды. Немалый комсомольско-партийный опыт подсказывал Артёму, что так оно всегда было прежде, так будет и нынче.

Оказавшись далеко от начальства, он надел шляпу и внимательно глянул на стайку серпиловцев, словно задним числом старался понять: аплодировали они ему (и как громко и продолжительно) или не аплодировали вовсе, толком не расслышав его речи. Но ничего понять в поведении серпиловцев он не мог. Они стояли темным расплывчатыми тенями за отведенной им чертой, о чем-то негромко переговаривались и томились ожиданием дальнейшего действия в роще. Артёму, конечно, можно было подойти к землякам, разузнать об их настроении, приободрить, если надо, назидательным словом. Но он поостерегся это делать. Во-первых, ободряющих этих и назидательных слов у него как-то не находилось. А во-вторых, слишком удалиться ему от начальства было все-таки нельзя — вдруг понадобится по какому-либо неотложному, срочному делу.

Посмотрел, глянул Артём из-под низко опавшей ему на лоб и глаза шляпы и на деда Витю, но тоже не сделал в его сторону ни единого шага, а лишь как бы удостоверился, сидит тот еще на кладбище, прячется за кустом калины или его давно уже там нет.

* * *

Привыкал, приспособлялся к протезу Витька, наверное, с полгода, пока не образовалась теперь уже на культе устойчивая грубая мозоль.

Тетка Анюта, как-то исхитрившись с деньгами, купила ему новенькие ботинки на высокой шнуровке. Витька обул в них обе ноги и почувствовал себя еще более уверенно, чем в первый момент, когда только примерил протез в мастерской у Романа. А до этого он обувал лишь одну здоровую правую ногу, левые же ботинки и сапоги тетка Анюта, почему-то не решаясь их выбрасывать, прятала в сених-каморе. Для взрослых безногих фронтовиков продавалась в те годы в магазинах беспарная обувь (хоть на левую, хоть на правую ногу), а вот для детей такого удобства придумано не было. В городской же сапожной мастерской заказ всего на один ботинок или на один сапог брать не хотели. Не выгоден он был, что ли. Лишь однажды дед Кузьма пошел для Витьки яловый, будто игрушечный, сапожок. Но Витька носил эту самодельную крупно прошитую смоляной дратвою и пробитую по подметке кленовыми гвоздиками обувь всего года полтора. Нога у него быстро выросла, сапожок даже без портянки перестал лезать на нее, и тетка, в последний раз смазав изобретение деда Кузьмы детем, тоже спрятала его в кладовке. Так сапожок и лежал там несколько лет, словно гордась перед сиротливыми своими собратями: они все левые, а он один-единственный — правый, да еще и пошитый на заказ...

Первое время Витька ходил на новом поскрипывающем и пощелкивающем в шарнирчике протезе с палочкой и недолго: только по двору и возле дома. А если предстала какая-нибудь более дальняя дорога, в поле, в лес или в луга, пристегивал старый свой осиновый с двумя высокими лещетками. Но по мере того, как на культе образовывалась мозоль, и она все больше притиралась в глубокой, похожей на ступку ямочке нового протеза, он настойчиво удлинял дорогу и отказывался от палочки, хотя после затяжных этих путешествий ему опять приходилось отмачивать под присмотром тетки Анюты культю в холодной воде.

Вообще, если бы не тетка, то Витька, наверное, не выжил бы и сразу после ранения, и в дальнейшей своей инвалидской детской и юношеской жизни тетка доводилась ему крестной матерью. Она и относилась к нему, как мать, ни в чем не отделяя от своих собственных детей, Николая и Люды, а даже, наоборот, иной раз заботясь о Витьке больше.

— Вы сироты только наполовину, — назидательно говорила она им, — а он круглый сирота, и без ноги.

Витька в ответ почитал тетку Анюту тоже, словно родную мать (называть ее матерью он привык по деревенскому обычаю еще с самого малого возраста).

Будучи старшим в доме среди детей, он опекал Николая и Люду, как родных своих брата и сестру, всегда уступал им лучший кусочек в еде, берег в работе, заступался на улице и в школе, если кто-нибудь пробовал их обидеть. Когда же тетка Анюта постарела, и Николай забрал ее к себе, в город нанять внуков, Виктор будто осиротел еще раз.

* * *

К следующей весне Витька ходил на новом протезе совсем уже бойко. Он приловчился надевать на него и валенок, и даже сапог, чтоб никто не мог отличить, своя у Витьки нога или деревянная. А еще через год по завершении учебы в седьмом классе (в школу он пошел из-за войны и оккупации на две зимы позже) Витька решился на поступок, о котором до сих пор не знает ни одна живая душа.

Сразу после выпускных экзаменов и получения свидетельства об окончании семилетки он поехал подвоюю в город (возил из маслозавода на колхозную свиноферму отгон-обрат) и постучался в райвоенкомат. Парнем Витька был настырным и изворотливым. Он пробился на прием к самому райвоенкому, хорошо известному любому парню-допризывнику подполковнику Черноусову.

— Хочу поступить в военное училище, — решительно заявил ему Витька.

— В какое? — заинтересованно спросил его подполковник (многих деревенских ребят, ровесников Витьки, в те годы военные вербовщики зазывали в училища, а тут пришел сам).

— В летное! — совсем осмелел Витька.

— Можно и в летное, — и тут поддержал его подполковник. — Если, конечно, пройдешь по здоровью.

— Пройду! — уверенно и серьезно сказал Витька. — На здоровье пока не жалуюсь.

Подполковник внимательно посмотрел на него и протянул чистый листочек:

— Тогда пиши заявление. Через неделю вызовем на медкомиссию. Можно в Борисоглебское, а можно в Качинское.

— В Борисоглебское! — минуту помедлив, сделал выбор Витька (уж больно ему понравилось название города).

— Хорошо — в Борисоглебское, — согласился с ним подполковник и сделал на Витькином, прилежно, без единой помарки написанном заявлении какую-то пометку. — Там сам Чкалов учился.

На радостях, что все так удачно у него получилось, Витька резко поднялся со стула, почти уже по-военному повернулся через левое плечо и по-

шел из кабинета. Но возле самой двери протез его предательски скрипнул и щелкнул в шарнире. Странные эти и подозрительные звуки не укрылись от многоопытного в общении с допризывниками и кандидатами в военные училища подполковника Черноусова.

— Подожди, — остановил он Витьку. — А что у тебя с ногой?

— Ничего, — спокойно и по-мальчишески дерзко ответил Витька.

— Подними штанину! — приказал подполковник.

Деваться Витьке было некуда, он подчинился строгому приказу подполковника и штанину поднял.

— Та-а-к, — изумился тот. — И ты что же, хочешь с протезом летать?!

— Хочу! — поспешно ответил Витька. — Маресьев же летал.

— Летал, — сам опустил и даже отряхнул подвернувшуюся Витькину штанину подполковник. — Но у него на ногах были отморожены только ступни, а у тебя нет ноги почти до самого колена.

— Как это — ступни? — не поверил подполковнику Витька. — Я в книжке читал...

— В книжке — это одно, — вздохнул подполковник, — а в жизни, брат, совсем иное.

Он снова сел за рабочий свой стол, достал из папки Витькино заявление, долго глядел на него, будто надеясь увидеть там что-то новое, дающее ему право все-таки разрешить деревенскому этому мальчишке-инвалиду поступать в военное училище. Но, увы, так и не нашел.

Подполковник зачеркнул на заявлении прежнюю разрешительную пометку и написал новую, коротенькую и безжалостно-неопровержимую: “Отказать по состоянию здоровья”.

Смягчая неизбежный свой отказ, он заговорил с Витькой мягко, без военной строгости и жесткости. Похвалил даже:

— Это хорошо, что ты хотел стать летчиком. Но, сам подумай, ни в какое военное училище тебя не примут: ни в летное, ни в танковое, ни даже в интендантское, тыловое. Тебе на бухгалтера надо учиться или в педшколу поступать.

— Не хочу я на бухгалтера! — весь вспыхнул, загорелся Витька и, на глазах у подполковника разорвав заявление, вышел из военкомата.

Поначалу он решил ни за что не сдаваться, написать письмо тогдашнему военному министру, маршалу Советского Союза Васильевскому, а может, даже и самому Сталину. Но постепенно Витька остыл. И не потому, что заробел (парень он был как раз не робкого десятка), а потому, что вскоре все слова и предсказания подполковника Черноусова сбылись. Витьку не приняли не только в военное училище, но даже в училище механизации сельского хозяйства, куда он подал было заявление. Не взяли Витьку из-за протеза и на трехмесячные районные курсы трактористов и шоферов. В общем, действительно одна ему была дорога — в бухгалтера или в сапожники, учеником и подмастерьем к деду Кузьме. Тетка, стараясь смягчить его переживания, настаивала, чтоб Витька сперва окончил в районе десятилетку, а потом уж поступал куда-нибудь учиться дальше: например, на агронома, учителя или инженера, где его увечная нога не будет помехой.

Но в десятилетку Витька не пошел. Во-первых, за учебу в восьмом, девятом и десятом классах тогда еще платили деньги. Пусть не слишком большие, но все равно деньги. А откуда их было тетке при ее колхозных пусто-порожных труднях и малых детях брать?! Во-вторых, Витьке предстояло бы жить в городе, на квартире, что опять-таки деньги и отлучка из дома, где без его ежедневной помощи тетке было бы обходиться с малыми этими детьми нелегко. А в-третьих, Витьку при его резком, вспльчивом характере будто заклинило: раз нельзя в военное училище или хотя бы в училище механизации сельского хозяйства, так ему больше никуда и не надо.

Подманув тетку, что его, переростка, в восьмой класс тоже не берут, Витька пошел с осени в колхоз. Тут никто никаких справок и медосмотров от него не требовал. Можешь трудиться на земле — трудись. Витька и трудился. Поначалу наравне с другими, здоровыми и увечными (здоровых в те послевоенные годы было мало: кто на фронте здоровье потерял, кто во вре-

мя оккупации, под немцами), обретался на любых рядовых колхозных работах: пахал на пароконном плуге, заготавливал в лесу на расчистке дрова, возил с поля на воловых упряжках к токам снопы, а зимою к фермам сено, пробовал даже косить. Но тут у Витьки часто случались оплошности. На высококом месте, на буграх ни на шаг не отставал он от других косарей, а иногда так даже и вел их за собою в длинном ряду. А вот, чуть выпадет где топкое болотце, там Витьке приходилось туго. Мужики косили босиком, подвернув повыше штанины, Витьке же с его протезом надо было воды беречься. Деревянная стопа и щиколотка от влаги набухали и после, высыхая, могли в любой момент пойти трещинами, лопнуть. Вода затекала и в сам протез, в ямочку-ступку, войлок и шерстяной носок-чехольчик быстро намокали; культу начинало саднить, будто в самые первые дни, когда Витька только приспособивался к протезу. Помучившись так и раз, и другой, он выходить на косовицу перестал, хотя и сам огорчался этому, и огорчал бригадира, у которого все мужчины-косари были наперечет.

Повезло Витьке лишь в конце пятидесятых годов. По распоряжению Хрущева районные машинно-тракторные станции, МТС, были расформированы, и вся техника передана в ведение колхозов, поближе к земле, как тогда писалось в газетах. В Серпильковке спешным порядком был оборудован машинный двор, построены гаражи и мастерская по ремонту сельхозтехники. Витька, после недолгих переговоров с бригадиром и председателем, устроился туда вначале учеником слесаря, а месяца через три уже и полноправным слесарем. К машинам и технике у него была просто какая-то природная способность и талант. Любую поломку он определял не только на взгляд, но даже и на слух, чем немало удивлял опытных, с фронтовым еще стажем, шоферов и трактористов. С ремонтом, устранением этой поломки, если, конечно, были запчасти, Витька тоже справлялся быстро, что в весеннюю пахотную страду или в летнюю, уборочную, ценилось на вес золота.

Занимаясь ремонтом техники, Витька легко и незаметно даже для самого себя выучился ездить и на автомобилях, и на тракторах любых марок, хоть колесных, хоть гусеничных. После это умение и навык не раз ему в жизни пригодилось. И даже не столько ему, сколько бригадиру и председателю колхоза. Бывало, в самый разгар полевых работ кто-нибудь из шоферов заболает или крепко многодневно запыет (что случилось гораздо чаще), так бригадир с председателем сразу бежали к Витьке:

— Выручай, Виктор Васильевич, больше никому.

И Витька выручал. Неделями не вылезал из кабины грузовой машины, трактора, а то и комбайна: в апреле-мае месяце пахал, сеял, бороновал, в июле-августе убирал комбайном рожь, пшеницу, овес, возил в район на элеватор, не имея шоферских прав, зерно. О своем увечье, о протезе Витька в такие дни напрочь забывал. Ну какое может быть увечье, когда идет такая горячка, битва за урожай, как опять-таки любил писать в газетах, который гибнет, а без Витькиного участия вовсе погибнет на корню.

В те же годы Витька впервые стал заглядываться на девчонок, а они — на него. Пока он шкандыбал на осиновой подпорке с согнутой в колене и далеко отброшенной назад ногой, девчонок Витька сторонился и робел. А теперь, когда протез его почти не отличим от настоящей живой ноги, когда Витька во всем полноправный работник, как ему было не осмелеть и в клубе, на танцах, не поглядеть то на одну деревенскую красавицу, то на другую, то на третью. Танцевать он тоже выучился (Маресьев на двух протезах танцевал, а он — всего на одном) и смело приглашал этих красавиц и на медленно-томное танго, и на быстролетучий вальс, и даже на искрометную “сербиянку с выходом”. Во время танцев он безошибочно и выглядел будущую свою жену — Ольгу Максимовну. Характера она оказалась непреклонно-твердого (хотя на самом деле ласково-обходительного, о чем, может быть, один только Виктор по-настоящему и знал), как раз такого, какой и нужен Виктору при его вспыльчивости и частом гневе. Чуть он начнет яриться (особенно если выпьет с мужиками лишку где-нибудь возле магазина, в тенечке), Ольга Максимовна тут как тут. Сразу высвободит его из пьяного плена, возьмет под белые руки и за воротник и скажет любимую свою прибаутку:

— Ах ты, хромой бес!

Но так скажет, что Виктору иной раз хотелось захромать и на вторую ногу. Во какая у него Ольга Максимовна, не чета всяким иным несообразительным женам-супругам...

Жизнь они с Ольгой Максимовной прожили долгую и, в общем-то, счастливую, чего тут Бога гневить. Детей у них трое: два сына, Василий и Петр, и младшая дочь, которую они называли в честь матери Виктора Анастасией — Настенькой. Внуков у деда Вити и Ольги Максимовны пятеро и один правнук — тоже Витька.

* * *

Пока Виктор был холост, он жил в доме тетки Анюты. В свой, родительский, дом Виктор навещался редко, лишь затем, чтоб вспахать да засеять огород. Без отца и матери он казался ему умершим, будто тоже погибшим на войне и совершенно непригодным для жилья. А тут еще погреб, который Виктор вообще обходил стороной...

Но когда он женился на Ольге Максимовне, то по общему согласию и договоренностью с теткой Анютой поселились молодожёны бездетной еще своей семьей в наследственном, отцовско-материнском, дедовском и прадедовском доме.

За лето они с Ольгой Максимовной отремонтировали его, привели в Божеский вид: что надо — побелили, что надо — покрасили. Виктор самолично перекрыл дом соломой нового обмолота, и он под этой желто-горячей, золотой крышей (будто пасхальное яичко, так говорят о подобных крышах) сразу помолодел и, кажется, навсегда забыл обо всех прежних своих потехах и бедах.

А вот к погребу Виктор никак подступиться не мог. Он долгие годы стоял еще разорённым, с зияюще-провальным, обрушенным сводом. На стенках погреба были видны следы от осколков гранаты, а в нескольких местах, понизу, Виктору даже чудилась запекавшаяся, несмываемая кровь. Он хотел было вообще погреб зарыть, сравнять его с землей, чтоб всего этого каждодневно не видеть и не терзать душу. Но Ольга Максимовна установила его:

— Будет еще хуже!

Уж кто-кто, а она, наблюдая всю масть Виктора, знала, что, зарой он погреб, живым похорони, так после как жить при этой могиле, как растить детей и внуков?

Виктор послушался Ольгу Максимовну, раздобыл хорошего обжигного кирпича и в несколько дней восстановил погреб, свел над ним воедино разрушенный немецкою гранатой свод-купол. А вот осколочные следы-рытвины и причудливую ему кровь заделывать не стал и не велел заделывать их Ольге Максимовне.

— Пусть сохраняется,— попросил он её.

— Пусть, — без промедления согласилась с ним чуткая Ольга Максимовна.

Но и в обновленный погреб Виктор заходил редко, разве только в те дни, когда нужно было закатить туда бочки для засолки огурцов, помидоров и капусты. В остальное же время сторонился его, чувствуя в душе неодолимый запрет и преграду. Ольга Максимовна и тут ни разу Виктора не приневолила, зримо видела и чуяла этот его запрет и эту преграду. Погреб она обихаживала, содержала в полном порядке и чистоте сама. И мало того, что содержала, так еще и повесила там икону Божией Матери Заступницы, а во все поминальные дни ставила перед той иконой на специально заведенной дощечке семь свечей в память о погибшей матери Виктора, ее подругах-соседках и детях. Погреб при сиянии поминальных свечей светлел, рытвины и кровь как будто навсегда исчезали с его стен, и он напоминал подземную церковь, почти подобную тем, которые Виктор видел однажды в Киево-Печерской лавре, в Ближних и Дальних пещерах.

Но на душе у него при виде высоко горящих в погребке поминальных свечей легче и светлей не становилось. А наоборот, душа его тяжелела и будто наливалась свинцом и камнем. Осенний смертельно-погибельный день сорок третьего года всплывал в памяти Виктора ясней и четче, во всех подробностях: вот шаткая погребная дверца широко распахивается от удара немецкого сапога (с каждым годом этот удар казался Виктору все более сильным и безжалостным), вот граната на длинной ручке с визгом и свистом летит из погребного зева, и сразу за этим — взрыв, вспышка, предсмертный крик детей и женщин, безумный толчок матери, а дальше нестерпимая боль в ноге и полная темнота.

Виктор, не выдерживая этих видений, прятал в карман бутылку водки, случайно попавшуюся под руку закуску и уходил на кладбище.

В первые по женитьбе годы Ольга Максимовна порывалась идти вместе с ним, но Виктор угрюмо останавливал ее:

— Я — один...

Ольга Максимовна вздыхала и оставалась дома. Правда, несколько раз за день она выглядывала за калитку и тайком наблюдала за Виктором, как он, нахохлившись, сидит на лавочке возле могилы матери, но приблизиться не решалась, безошибочно чувствуя, что ему действительно лучше там побыть сейчас одному.

Совместно они ходили на кладбище лишь на Радоницу, когда там собиралось все село. Тут Виктор Ольгу Максимовну не останавливал, как не мог остановить и остальных односельчан, пришедших помянуть своих сродственников. Печаль и скорбь в этот день для всех одна...

С годами Ольга Максимовна все же придумала, как смягчить в поминальные дни тяжесть и ожесточение Виктора. Едва затеплив в погребке свечи, она сама увязывала ему узелок с вышивкой и закуской, помогала сойти с крылечка и долго смотрела вслед, как будто он уходил из дому безвозвратно.

Виктор действительно смягчался и, оглядываясь на Ольгу Максимовну, порывался все же взять ее с собой, но так ни разу и не взял. Там, на могилах он в одиночку пил водку, молчал, и с каждой новой выпитой рюмкой молчал все тяжелей и тяжелей. И никто не смел нарушить его молчания...

* * *

Ответной речью-обещанием Артёма митинг и закончился. Теперь наступало во всех торжествах главное событие — похороны. Уплотняя толпу, поспешно выдвинулись к гробу-ящичку оба священника. Немецкий открыл книжечку и начал читать по ней, должно быть, какую-то молитву, но не очень громко и напевно, а как-то неразборчиво, с частыми разрывами в словах, будто про себя. Читал ли какую молитву наш батюшка, дед Витя расслышать и определить не мог. Уступив главенство немецкому пастору, батюшка стоял в нескольких шагах от микрофонов, к тому же, кажется, и растерялся, не зная, читать ли ему поминальную молитву совместно и в один голос с немецким священником или ждать своей, отдельной очереди.

Но он так ее и не дождался, потому что, едва немецкий его соратник произнес (на этот раз громко и отчетливо) последнее в молитве слово: “Аминь!”, как по приказу командира-начальника к гробу выметнулись два солдата, заученно подхватили его на ремни (чувствовалось, что этой сноровке они долго и упорно тренировались) и в одно мгновение опустили в яму.

Немецкий пастор перелистнул в книжечке несколько страничек и, глядя в провальное дно ямы, прочитал еще какую-то совсем уже краткую молитву. Наш батюшка теперь оказался проворнее: он тоже сказал несколько слов, но была ли это молитва или просто подходящие к случаю мирские слова, дед Витя опять не разобрал.

Солдатики и выскочившие им на подмогу откуда-то из засады четверо казахов-турков в новеньких, похоже, специально выданных им к сегодняшнему дню робах взялись было за лопаты, но тут вдруг произошло небольшое замешательство. Упреждая их порыв, немецкий пастор что-то сказал своим

соплеменникам, и те, подступив к самому краю могилы, стали бросать в нее комья песчаной осенней земли. Первым бросил старик-немец. Но не сразу, а после долгой задерживающей всех остальных подготовки. Прежде всего, он зачехлил и передвинул для удобства далеко за спину фотоаппарат, потом достал из кармана черные перчатки и, тщательно притирая их и разглаживая на пальцах, натянул по самые запястья. Но и этого старику показалось мало. Наклоняться без опоры-подмоги к земле ему было опасно, и он, выбросив далеко вперед толстую свою палку, долго тыкал ею в нетронутый травянистый дерн, отыскивая необходимое равновесие. Когда же нашел, то оперся одной рукой на нержавеющий наконечник палки, а другой, подавая пример соплеменникам, расчетливо бросил в яму три горсти земли. На ярком осеннем солнце, в это мгновение выглянувшем из набежавшей было тучи, наконечник палки и металлические застежки перчаток ослепительно блеснули, но деду Вите показалось, что блеск этот какой-то тусклый, словно мертвый.

Вслед за стариком принялись бросать землю и остальные немцы, кто голыми озябшими руками, а кто тоже успев надеть перчатки.

Наши хозяева-гости во главе с губернатором, столпившиеся уже в стороне от могилы, замешкались и, не зная, как им надлежит поступить — бросать землю или не бросать, стояли в растерянности. Все смотрели на губернатора, ожидая от него решения и подсказки. Но и губернатор подрастерялся, беспокойно заоглядывался по сторонам, будто сам искал там какого-нибудь выхода из создавшегося положения. И, к своему удивлению, почти мгновенно нашел его.

На глаза губернатору, как нельзя более кстати, попался Артём, который неприметно, но весь на стрёме и изготовке стоял позади больших и малых начальников. Губернатор, не долго думая, опять обхватил его за плечо и без лишнего разговоров повелительно подтолкнул к земляной насыпи.

Артём быстро сообразил, чего от него требуется. Проваливаясь в могильном, оплывающем под ногами грунте по самые щиколотки и пачкая штанины выходного костюма, он взобрался на вершину бугорка, глубоко зачерпнул ладонью горсть сырого, влажного песка и прицельно бросил его в яму. Ладонь у Артёма была широкая, с длинными увертливыми пальцами, и песка набралось в нее на добрую штыковую лопату. Секунду-другую помедлив, пока первая горсть рассыплется поверх крышки гроба и смешается с комьями, брошенными немцами, он еще дважды зачерпывал с бугорка широченной своей ладонью-лопатой. Но бросал теперь землю не сразу, а постоянно оглядываясь на губернатора (так ли все, правильно ли делает), долго и мелко разминал, размягчал ее пальцами и лишь после этого, размахиваясь из-за плеча, россыпью и веером кидал, будто сеял зерно, с одного края могилы до другого.

Старик-немец, успевший уже разогнуться и опять завести на грудь фотоаппарат, в упор щелкнул им по Артёму, и этот снимок, похоже, был самым удачным из всех, которые старик сделал за всё утро.

Подражая Артёму, по малой (будто переведенной с русской на немецкую) горсточке земли метнули в яму переводчики и переводчицы: и губернаторские, и генеральские и даже неприметный семинарист-попик в клубочке-чепчике. Им как бы и нельзя было не бросить, нельзя было отстраниться от своих подопечных-немцев, с которыми они за время служения так близко сошлись и сроднились.

К земляному бугорку потянулись еще несколько человек из начальственной свиты, но, вовремя глянув на губернатора, который к могиле не подходил, а увлеченно беседовал с немецким коллегой и генералами, они от бугорка отпрянули, решив, что губернатор, несомненно, во всем прав, и вполне достаточно участия в ритуале главы местной администрации, Артёма, и переводчиков.

Да они уже и не успели со своим порывом. Как только последние комья земли, брошенной переводчиками, исчезли в неглубоком провале могилы, командир-начальник дал отмашку солдатам и казахам-туркам, и те в четыре лопаты начали поспешно и обвально зарывать ее. Когда земли там набралось чуть больше половины, солдатики (опять-таки, заученно и натренированно) положили в изголовье ее мерную рейку, а казахи-турки в два-три приема ус-

тановили на необходимой высоте похожий на обрубок водяной сваи надгробный столбик. После, конечно, по весне, когда грунт осядет и уплотнится, могилу придется разрывать и столбик цементировать, иначе он завалится на сторону или уйдет в землю по самую макушку. Но все это потом, по окончании долгой холодной зимы, а сейчас главное, чтоб столбик стоял по уровню, на заданной высоте и обозначал, что немецкое кладбище уже есть, уже существует.

Дождавшись, пока солдатики и казахи-турки довершат обустройство первой в ряду, правобланговой могилы, заметно поредевшая толпа вслед за священниками перешла к соседней. Никакого митинга там уже не затевалось, речей никто не произносил, один лишь немецкий пастор ускоренно прочитал из книжечки молитву и уступил место могильщикам, которых набралось теперь человек до десяти. С похоронной своей работой они сообща справились много быстрее, чем возле первой могилы — всего через каких-нибудь десять минут бетонный столбик-свая уже возвышался над невысоким песчаным бугорком.

К третьей и четвертой могилам толпа поредела еще больше. По крайней мере, наш и немецкий губернаторы со своими свитами и переводчиками туда не пошли, а вернулись на твердый пятак, поближе к машинам. Их примеру последовали генералы и даже немец-старик с фотоаппаратом.

Оно и вправду — не ходить же им от могилы к могиле по узеньким междурядьям-просекам, скользя по выброшенной из ям земле и спотыкаясь о пеньки спиленных во многих местах берез. Никакой необходимости в этом уже нет: что нужно было сказать — сказано, траурные почести и дань погибшим отданы, — и возле остальных могил теперь идет хотя и скорбная, но в общем-то рядовая работа. Там вполне достаточно священников, солдат и казахов-турок во главе с прорабами и командиром-начальником, да Артём, который догадался по доброй воле откомандироваться туда, представляя сразу все власти, начиная от самых высших, московских и областных, и заканчивая местными, низовыми. Мужик он расторопный, деловой и вполне справится самостоятельно, без руководящих указаний.

* * *

И Артём действительно справился. Терпеливо выслушивал краткое чтение немецкого священника-пастора, вступал в душевный разговор с нашим немного растерянным багюшкой, чем, кажется, приободрял его, бросал в каждую могилу по три обязательные горсти земли, давал дельные советы могильщикам, а иногда так и сам брался за лопату.

Пока шла неустанная эта погребальная страда, гости на пятачке, дожидаясь ее окончания, томилась, то разбиваясь на отдельные группки, то опять соединяясь вокруг губернаторов и генералов в одну общую кольшующую толпу.

Неутомимый немец-старик тоже утомился, но в продолжительные беседы ни с кем не вступал, а пристально поглядывал на село да на всё еще запертых в загоне милиционерами-полицейскими серпиловцев, словно хотел там увидеть кого-то знакомого. Не обносил он дальнотворким своим взглядом и деревенское кладбище-погост. Там старик опять высмотрел деда Витю и удивился, почему этот деревенский мужик в русской стеганке-телогрейке одиноко сидит на лавочке за могильной оградой (да еще и прячется в тени жиденьких с почти уже облетевшей листвой зарослях), а не присоединяется к односельчанам, которых вот-вот выпустят на свободу.

Ловко, словно артист-фокусник, поиграв палкою, старик даже сделал в сторону кладбища и деда Вити несколько шагов, но в это время на пятачке всё пришло в движение и совсем уже в праздничную суету. Не занятые в похоронах солдатики и какие-то посторонние молодые ребята и девчонки в голубеньких мундирчиках с галстуками (официанты или какие-нибудь другие прислужники, как догадался дед Витя) расставили по всему периметру пятачка длинные раскладывающиеся столы и покрыли их белоснежными скатертями. Через минуту на этих столах появилась и водка, и всевозможные

закуски, которые официанты-служки проворно выносили из отдельной поварской какой-то машины-кухни.

Толпа, увлекаемая губернаторами, стала окружать эти столы, разбираться вокруг них согласно своим рангам и должностям. Старику-немцу место было определено за столом, предназначенным для начальства и особо почетных гостей, как всегда это и делается во время праздничных банкетов (дед Витя ни разу в своей жизни на них не присутствовал, но видел в кино и по телевизору): рядовые гости стоят впритирку, плечом к плечу за общими столами-братинами, а президиум и гости почетные, особо отмеченные и приближенные, за отдельным, поставленным на особицу, в отдалении от общих братин и поперек им. По наблюдениям деда Вити, на столах этих выпивка и закуска тоже были особые и в особом изобилии: коньяки, разных сортов водка и вина, прохладительные напитки и фрукты. Само собой разумеется, что и посуда на стол президиума выносилась отдельная, хрустальная и фарфоровая, высокого качества, а на общих — пластмассовая, разового пользования.

На нынешних столах все было организовано точь-в-точь как в кино и в телевизоре. Стол президиума, поблескивая на солнце дорогими бутылками и дорогой посудой, возвышался на самой маковке бугорка, рядовые же как бы стекали в низинку, к пустырю.

Поминальное торжество-трапезу можно было уже и начинать, но наш губернатор медлил, позволения и команды пока не давал, дожидаясь священников.

Те появились минуты через три-четыре в сопровождении благостно-покорного воцерковленного переводчика и Артёма, утомленные затянувшейся службой, припорошенные березовыми листьями и могильной землей. Место им было определено в президиуме, в самой середине стола, между губернаторами и генералами.

Артём, доведя священников до президиума и сдав их из рук в руки начальству целыми и невредимыми, скромно понятился к столам рядовым, в самый конец их и завершение, где заняли себе места журналисты. Но губернатор повелительным жестом остановил его и указал место за столом президиума, в соседстве с немцем-фотографом. Противиться губернатору Артём не осмелился, хотя там, в конце рядовых столов в толпе журналистов — людей на поминках в общем-то случайных и необязательных (они все-таки на работе: сделали свое дело, что надо — засняли на пленку, что надо — записали в блокнотиках, и давно бы могли уехать), он чувствовал бы себя свободнее и вольнее (там и выпить можно было бы побольше и без оглядки). Но слово губернатора — закон, и Артём, сняв шляпу, пристроился рядом со стариком и сразу затеял с ним, призывая на помощь переводчицу, какой-то дружеский застольный разговор.

Еще через пару минут подошли к столу президиума несколько милиционеров-полицейских в серьезных, важных чинах, полковников и подполковников. Полицейские же рангом пониже продолжали исправно нести охранную бдительную службу. Серпиловцев они наконец-то из заточения выпустили и позволили им беспрепятственно разглядывать свежие захоронения, но к столам подходить близко не советовали. Да серпиловцы по деликатности своей и сами туда не стремились, хорошо понимая, что на них за столами не рассчитывали (это сколько же надо выпивки и яств, чтоб упоить и укормить полсела). Пусть там трапезничает от имени и по поручению крестьянского сообщества Артём, деревенский их самый главный начальник. Он в трапезах-застольях толк и обхождение понимает и после, если не загордится, то расскажет, что там было и как: какая выпивка, какая закуска. Рассказывать Артём умеет еще лучше, чем выпивать и закусьвать. Впрочем, народу в стайке, за чертой, к концу погребений задержалось совсем мало. Многие, посмотрев издали только начало митинга и похорон, разошлись по домам. Смотреть было вроде бы больше и нечего. Возле каждой могилы в березовой роще работа шла однообразная и скорая, будто на конвейере: священники, солдатики и казахи-турки трудились неразгибно. Подсобить им — это, конечно, совсем иное дело, а просто безучастно смотреть, ротозействовать как-то оно вроде бы и нехорошо, не по-людски и не по-человечески. В березня-

ке остались лишь старики, старухи да дети-подростки, свергшиеся с деревьев. Обретя свободу, серпиловцы стали бродить между рядами, читать, каждый по своему знанию, надписи на столбиках на немецком и русском языках. Именных надписей там было не так уж чтоб и много, да и то лишь в начальных рядах, а на дальних темнели одна под другой надписи “Томб офте Унковн” — “Неизвестный”.

Вслед за серпиловцами, наскоро собрав лопаты и другой шанцевый инструмент, уехали с похорон и солдатики. (Самовольно, как журналисты, занять места за столами они, понятно, не смели.) Поторапливаться солдатикам был особый резон. Если нигде не застрянут в дороге, то как раз поспеют в гарнизонную столовую к обеду. А он сегодня особый, субботний, с наваристым борщом, с кашей перловкой или макаронами “по-флотски”, и главное, с густым розово-красным киселем вместо обычного жиденького чая.

А вот для вольнонаемных казахов-турков время обеда еще не настало, и они, вытесняя из рощи последних серпиловцев, принялись совковыми лопатами и метлами зачищать междурядья, подравнивать, где необходимо, надмогильные бугорки и неровно, в спешке поставленные столбики. Негромко, на малых оборотах заурчали и уползли к дальнему, соприкасающемуся с деревенским погостом краю березняка два трактора: малый, экскаваторный с выброшенным вперед, будто какой хобот, ковшом-землечерпалкой, и тяжелый, играющий на солнце отполированным до серебряно-стального блеска бульдозерным ножом. Наверное, там, на окраине вновь обретенного немецкого кладбища была какая-то срочная земляная работа, с которой казахитурки вручную справиться не могли. А может, просто кто-то из распорядителей торжеств решил спрятать трактора куда подальше, чтоб они своим видом не мешали проведению заключительной части этих торжеств — банкета-поминок.

Пора было уходить домой и деду Вите. Ему тоже развлекаться тут больше нечем, на огороде ждет капуста и, если не терять время попусту, не прохладжаться, то к вечеру ее можно будет потихоньку срубить и свезти на тачке ко двору, и тем порадовать Ольгу Максимовну.

Дед Витя в последний раз оглядел материну могилу, снял с креста несколько только-только опавших листиков и вышел за ограду.

— Ну, мать, — поклонился он могиле и сказал так, как всегда и говорил при расставании, — прощай пока. В следующую субботу приду.

— Прощай, — молодым и вовсе не грустным голосом ответила мать, а может быть, это деду Вите лишь послышалось в шелесте березовых высоких ветвей и калинового, усыпанного гроздьями-кровинками куста.

За оградой он надел шапку, половчей приладил в руке палочку-посошок и твердо встал на протоптанную за долгие годы хождения к матери песчаную тропинку. Но тут дед Витя вдруг услышал, как позади него кто-то заполошно и надрывно кричит:

— Виктор Васильевич! Виктор Васильевич! Подожди!

Дед Витя оглянулся и увидел, как через пустырь, заплетаясь широкими брючинами в осеннем порыжевшем бурьяне, к нему бежит Артём.

— Чего тебе? — любопытства ради задержал шаг дед Витя, немало дивясь, почему это Артём вдруг стал окликать его по имени-отчеству, а не так, как привык по обыкновению, в повседневной жизни — дедом Витей.

— Тебя Юрий Иванович зовет!

— А кто такой Юрий Иванович? — перекинул посошок из руки в руку дед Витя.

— Ну, ты даешь! — неподдельно возмутился Артём. — Губернатор наш.

— И зачем я понадобился нашему губернатору? — повесил на посошок сумку с пустой четвертинкой дед Витя.

— Поговорить хочет. С гостями познакомить. Я рассказал ему о тебе.

— И что же ты рассказал ему? — вскинул отяжелевший взгляд дед Витя на фетровую шляпу Артёма, которая опять наполнила тому на самый лоб.

— Так, всё рассказал, — забеспокоился под этим взглядом Артём, — что ты в Серпиловке теперь, считай, последний, кто помнит войну, кто пострадал на ней.

— Некогда мне! — отрывисто и резко ответил дед Витя и, отстранив Артёма, зашагал по тропинке.

Но Артём не отставал, крутился, словно какой выюнок, вокруг него, загоразживая дорогу и уговаривая на все лады:

— Неудобно же, Виктор Васильевич. Тебя все ждут.

— Неудобно штаны через голову надевать, — начал уже всерьез заводить дед Витя, и Артём прекрасно знал, что ничего хорошего это не сулит.

Он прильнул к нему с другого боку и проговорил с обидой и жалобой в голосе:

— Меня ругать будут. Я же обещал...

— Зря обещал! — не стал больше слушать его дед Витя.

Но шаг он все-таки опять замедлил и дальнозорко посмотрел в сторону застолья.

Там, прервав трапезу, и хозяева, и гости действительно ждали, чем закончатся переговоры Артёма с дедом Витей. Они с напряжением и любопытством наблюдали за ними, а немец-старик даже нацелился своим минометным фотоаппаратом.

— А этот, что, — ткнул в него посошком дед Витя, — небось, воевал у нас?

— Бог его знает, — уклонился от прямого ответа Артём. — Но говорит — ветеран.

— Эсэсовец поди, — завелся еще больше дед Витя. — Там только такие верзилы и были.

Он еще раз посмотрел на всё застывшее, безмолвное застолье и вдруг в одну минуту переменял свое решение, как это нередко случалось с ним и в обыденной жизни, особенно если дед Витя выпивал рюмку:

— Ладно, я пойду!

Он свернул с тропинки на пустырь и, почти не помогая себе посошком, не прислушиваясь, как поскрипывает и саднит культую расхатавшийся за день протез, пошел к празднично-поминальным столам.

Артём семенил рядом, без умоку болтал и похвалялся, что и наш, и немецкий губернаторы твердо обещали проложить к Серпиловке асфальт, провести газ, а может быть, даже и воду. Но дед Витя мало его слушал, а всё поглядывал и поглядывал на подвыпивших уже поминальщиков и в первую очередь на старика-немца, который, не переставая, целился в него и щелкал фотоаппаратом.

На подходе к пятачку-площадке Артём ловко подхватил деда Витю под локоть и, минуя рядовые, на добрую треть уже опустошенные столы, подвел его к президиуму, где водки и закусок не убывало.

— Вот, — легонько подтолкнул он туда своего пленника: — Виктор Васильевич, я вам говорил, ветеран наш и герой войны.

— Очень рады, — потеснив священников и генералов, освободил губернатор рядом с собой место для деда Вити.

— Чему рады? — помедлил дед Витя занимать это место.

— Рады познакомиться, — немного смущаясь, протянул ему руку губернатор, не привыкший к подобным разговорам с собой.

Молодую холёную эту руку дед Витя пожал и стал выжидать, что будет дальше.

Губернатор попробовал было знакомить его с соседями по застолью, нашими и чужими, но вовремя догадался, что прежде знакомства надо все ж таки деду Вите, ветерану и герою, налить рюмку.

Он дал знать об этом стоящему прямо у него за спиной официанту. Но когда тот потянулся за бутылкой, ловко перехватил ее у него и начал самостоятельно наливать деду Вите водку в махонькую, прозрачно иссеченную затейливыми узорами рюмку.

— Я с такой тары и такими дозами не пью, — неожиданно остановил его дед Витя.

Губернатор, подождав, пока переводчица переведет его слова иноземным гостям, не смог сдержать улыбки и откровенно загордился перед этими гостями: вот, мол, какие у нас, у русских, ветераны и герои войны — из мел-

кой тары и мелкими дозами не пьют. Он потянулся за фужером, расчерченным точно такими же, как и рюмка, узорами, но потом что-то шепнул службе-официанту, и тот неведомо откуда раздобыл и водрузил на стол граненый двухсотграммовый стакан.

Теперь уже совсем широко и по-свойски улыбаясь, губернатор с пониманием дела и, чувствовалось, немалым опытом принялся наливать водку, которая утробно побулькивала и будто сама поскорее рвалась из бутылки. Но на половине стакана он горлышко бутылки оторвал и вопросительно посмотрел на деда Витю.

— Лей, лей, — поторопил его тот. — Водка поди не твоя — казенная.

— Казенная, — подыграл деду Вите губернатор и еще больше загордился им перед иностранными гостями. Заодно загордился и собой, своим открытым, открытым разговором с народом, от которого ему утаивать и скрывать нечего.

Когда стакан наполнился по самый венчик, дед Витя взял его твердой, недогнувшей рукой, внимательно оглядел всё застолье, начиная от заглавного поперечного стола и заканчивая стоящими продольно, вниз по склону, и вдруг опять озадачил, спросил молодого губернатора:

— И за что же вы тут пьете?!

Губернатор на этот раз гордыню свою смирил, вспыхнул и зарделся, словно красная девица, и с трудом нашелся, что ответить деду Вите:

— Похороны, сами понимаете...

— Ну, за эти похороны я пить не буду, — подвинулся поближе к столу, чтоб поставить на него стакан, дед Витя.

Иностранные гости, дожидаясь, пока толмачи объяснят им, что там за разговор затеялся между губернатором и ершистым русским стариком-инвалидом в шапке-ушанке, потертых штанах и телогрейке-стеганке, которую они прежде видели только в кино, по-гусиному вытянули в сторону переводчиков головы и насторожились в предчувствии чего-нибудь особо веселого и развлекательного. А наши заволновались и встревожились всерьез. Они с удвоенным вниманием стали прислушиваться к переводчикам, надеясь, что те как-нибудь смягчат, скраднут слова деда Вити и тем выручат губернатора, в общем-то по своей воле и легкомыслию попавшего в эту неожиданную переделку.

Но выручил его сам дед Витя. Глянув на побагровевшее растерянное лицо губернатора, он стакан не поставил, а наоборот, еще крепче зажал его в заскорузлой горсти и сказал как бы только одному своему собеседнику:

— А вот за нынешнюю, Дмитриевскую субботу я выпью. Знаешь, что такое — Дмитриевская суббота?

Ни губернатор, ни многие другие, приехавшие вместе с ним областные и московские гости не знали. Но им ловко и вовремя подсказал наш внимательный ко всему происходящему батюшка. Он из-за плеча немецкого пастора в двух-трех доходчивых словах все объяснил губернатору. Тот сразу подобрел лицом, успокоился, улыбнулся деду Вите, может быть, даже опять скрытно гордясь им. А иноземным гостям все было без разницы. Если они мало чего поняли из разговора деда Вити с губернатором, то тем более ничего не поняли насчет Дмитриевской субботы, которая у них, в немецкой стороне, не празднуется и не отмечается. Они теперь с нескрываемым страхом смотрели на стакан деда Вити, не веря, что тот в один раз и присест выпьет его.

Но дед Витя выпил. Не торопясь и не поспешая, мерными расчетливыми глотками, внимательно следя, чтоб ни единая капля не обронилась ему на подбородок. Когда же стакан опорожнился, дед Витя аккуратно поставил его на край стола и закусил малым ломтиком хлеба с колбаской.

Теперь все ожидали (и губернатор, кажется в первую очередь), что почетный гость, ветеран и инвалид, поблагодарит за угощение и потихоньку уйдет домой. Всё, что надо было знать о нем, они узнали от Артёма. Хотелось, конечно, и посмотреть на героя, о котором Артём так вдохновенно рассказывал, чтоб удостовериться — не перебрал ли он, не переборщил ли в своих похвалах. Они посмотрели и удостоверились (втайне решив, что всё ж таки переборщил), и на том их интерес к деду Вите пропал. Делать ему тут вроде бы больше нечего, тем более, как им казалось, хорошо выпивши.

Но дед Витя сам не ушел, а повернувшись к старику-немцу, вдруг почти в самый окуляр фотоаппарата и в грудь ткнул его посошком:

— А ты чего приехал? Воевал небось у нас?!

— Найн, найн! — похоже, без переводчика понимая деда Витю, замал тот руками. — Нихт им Криег!

— Ладно тебе — нихт! — не отставал от него дед Витя. — ЭсЭс, поди?

— Найн — ЭсЭс! — еще пуще заволновался старик. — Их бин ейн инфантерист — пехота.

— Теперь вы все пехота, — подловил его на этой оплошности и невольном признании, что воевал, дед Витя.

Переводчики опять все путано пересказывали и сглаживали, чтоб слова деда Вити не слишком задевали иноземных гостей. Но те на этот раз поняли их правильно, только идти на помощь старику, словно сговорившись, почему-то не решились, а оставили его один на один с дотошным дедом Витей. Растерялись даже генералы и священники.

Минута установилась тяжелая и напряженная. Чтоб разрядить ее, надо было, наверное, вмешаться нашему губернатору, но тот опять не нашелся, как это поумней и поделикатней сделать.

А дед Витя, между тем, повторно ткнул старика в окуляр и, отстраняясь от стола, как бы даже вознамерился подойти к нему вплотную:

— А раз пехота, так, значит, это ты и бросил нам вон там, в селе, — он указал посошком на Серпиловку, — в погреб гранату.

— Найн, найн! — стараясь улыбаться и свести всё на шутку, загородился от деда Вити фотоаппаратом и палкой старик.

— Ну, не ты, так такой, как ты! — вроде бы смягчился тот, но, чуть помедлив, указал посошком на возвышающиеся невдалеке остатки бывшей колхозной фермы. — А вон там, в конюшне, ты, случаем, не сидел, воду по-собачьи из корыта (дед Витя показал — как) не хлебал?

Старик, проследив, куда указывает дед Витя, тоже немного помолчал, покрепче оперся на палку и вдруг произнес:

— Я, Я! (то есть да, да — сидел).

— Ну, стало быть, и гранату ты бросил. И нечего отпираться! — совсем добил его дед Витя.

Старик, дождавшись перевода, начал о чем-то долго и горячо говорить, размахивать палкой и всё время забрасывать за спину непокорный фотоаппарат. Но дед Витя его уже не слушал (и не слушал никого иного). Он неожиданно для всех высоко поддернул на левой ноге штанину и белые подштанники, которые, начиная с сентября месяца, чтоб не мерзла культя, начинал носить, показал немцу прихваченный двумя ремешками за худую костлявую голень старый измочаленный протез:

— Это твоя работа! Фотографируй на память!

Немец сбился с пространной своей речи, забормотал что-то невнятное, а губернатор, видя, что назревает и затевается скандал, поманил к себе Артёма и с раздражением приказал:

— Уводи его отсюда!

Дважды повторять Артёму приказ не надо было. Он тут же обхватил деда Витю за плечи и почти силком начал уводить из-за стола.

— Пойдем, пойдем, — настойчиво уговаривал он его. — Ольга Максимовна поди заждалась.

Но дед Витя, опустив штанину, стоял твердо и никуда идти не собирался. На обманно-ласковые уговоры Артёма он ответил резко, будто ударил наотмашь:

— Ничего — подождет! Она у меня терпеливая.

На помощь Артёму подоспели два милиционера-полицейские, но дед Витя прикрикнул и на них:

— А ваше какое дело?!

Но когда к нему, оставив гостей, сердито подошел сам губернатор, дед Витя вроде бы как подчинился ему, отпрянул от стола и сделал несколько шагов вслед за Артёмом и полицейскими.

Все облегченно вздохнули и потянулись за бутылками, чтоб окончательно разрядить обстановку. Но дед Витя в следующее мгновение, вырвавшись из-под опеки, цепко схватил немца-старика за рукав и развернул его лицом к деревенскому кладбищу-погосту:

— Пошли, коли гонят!

— Вогин золлте ман гээн? (куда идти?), — попробовал было сопротивляться немец, но дед Витя посильней подтолкнул его в спину:

— Шнель! Шнель! Сейчас увидишь — куда! — и снова повторил: — Шнель! — вдруг вспомнив, как осенью сорок первого года немецкие надсмотрщики и полиция гоняли их с матерью копать недокопанную колхозную картошку и все шнелькали, поторапливая прикладами автоматов и палками, которыми были вооружены.

Немец вырваться от деда Вити не посмел, а лишь несколько раз оглянулся на застолье и покорно пошел впереди его, будто под конвоем.

Так они и брели через весь насквозь продуваемый вдруг похолодавшим ветром пустырь: впереди, опираясь на толстую лакированную палку, немец, а в шаге от него дед Витя с рябиновым посошком-палочкой.

В полном одиночестве, один на один, заботливое начальство, правда, их не оставило. Тут же вдогонку за стариками был послан доброволец Артём, милиционер-полицейский и переводчица в ботфортах. Подхватив на плечо камеру, за ними ринулся было еще и телевизионный оператор, пьяненький и оттого самовольно-решительный, но какая-то начальствующая над ним дама удержала его за рукав, своевременно почувствовав и сообразив, что ничего больше снимать не надо и что за столом президиума намерение оператора не одобряют.

Переводчицу дед Витя принял, а на Артёма и милиционера-полицейского взъярился и погрозил им сумкою с остатками еды и пустой четвертинкой:

— Не бойтесь, не задушю я его!

Полицейский и Артём под замахом деда Вити на минуту остановились, потоптались в бурьяне, но послушаться начальства и повернуть назад не рискнули. Отпустив деда Витю, немца и переводчицу на несколько шагов вперед, они двинулись за ними бдительным, неотвязным дозором.

Дед Витя раз-другой оглянулся на них, для острастки опять погрозил сумкою и посошком, но вскоре перестал об этом стерегущем дозоре и думать: идут, ну и пусть себе идут — тоже ведь какая-никакая служба.

С переводчицей, которая, путаясь и заплетаясь в бодыльях полыни и дурнишника тоненькими нестойкими каблучками, постоянно отставала, дед Витя никаких разговоров не вел (не о чем было ему пока с ней разговаривать). А вот немцу время от времени подсказывал:

— Прямей иди, прямей!

Немец опять самостоятельно, без подсказки переводчицы понимал, чего от него требует дед Витя, подчинялся ему и широким упорным шагом, действительно никуда не уклоняясь, шел точно по прямой линии к деревенскому кладбищу-погосту.

Остановились они возле материной могилы. Дав немцу немного отдышаться, дед Витя подвел его к самой ограде и указал на бугорок-холмик:

— Здесь мать моя лежит. От гранаты твоей в погребке погибла.

На этот раз немец дождался от переводчицы подробного перевода, о чем-то даже переспросил ее. Но на слова деда Вити никак не откликнулся: выпрямившись во весь свой немалый рост, он молча стоял у ограды, изредка лишь зачем-то постукивая палкой о ее крашенные штакетины.

Дед Витя, признаться, и не ожидал, и не требовал от немца никаких слов. Молчит, и ладно, вот только палкой стучать о штакетины ему незачем.

Пытаясь унять немца, дед Витя опять жестко взял его за рукав и перевел через прогал-просеку к двум другим могилам:

— А здесь, — взмахнул он снятой еще на подходе к кладбищу шапкой, — соседки наши, тетка Соня и тетка Валя. Тоже в погребке прятались.

Немец и тут отмолчался, но палкой об ограду больше не стучал, а нашел для нее другой применение: оперся сразу двумя длиннопальцами, в старческих бурых пятнах руками, но не согнулся и не сгорбился — стоял прямо, будто

в военном строю. Похоже, он надеялся, что на этом его приключения с надоедливым русским стариком закончатся: на выручку подоспеет полицейский и такой обходительный в разговорах с ним глава местной администрации — Артём. Сейчас они покурят возле кладбищенских ворот — и придут.

Но дед Витя рассеял эти его преждевременные надежды. Он теперь уже без всякого насилия и принуждения поманил немца за собой к детским, увенчанным низенькими крестами могилам, встал у первой из них и сказал:

— А здесь дети лежат, тобой убиенные, — и перечислил всех своих погибших сверстников поименно: Гриша, Коля и Нина Слепцовы и Лида и Ваня Борисенко.

Переводчица, до этого какая-то взбалмошенная и чрезмерно горящаяся, что на мероприятии без неё ни большие начальники, ни иностранные гости, ни такой вот крикливый деревенский дед обойтись не могут, вдруг подбралась, перестала ершиться и будто повзрослела.

— Переведи ему всё повнимательней, без пропусков, — перестал сердиться на нее и дед Витя, — чтоб всё понял.

Переводчица, подступив поближе к немцу, действительно со всем прилежанием стала выполнять просьбу деда Вити, особенно четко произнося детские звонкие имена:

— Гриша, Коля, Нина, Лида, Ваня.

Немец тоже слушал ее гораздо внимательней, чем прежде, иногда даже прикладывал к уху ладонь и клонил в сторону переводчицы седую свою голову с жиденькими, но аккуратно, на косой пробор расчесанными волосами. Когда же она закончила, он повернулся к деду Вите и произнес не так уж чтоб и жестко, но и не совсем мягко, с хриплым клокотанием в горле:

— Ее вар ейн Криег!

— Была война! — передала его слова деду Вите переводчица.

— Конечно, война, — вдруг вспыхнул и тверже укрепился посошком и протезом о кладбищенскую землю дед Витя. — И вы здорово научились воевать с русскими детьми и бабами.

— Так и переводить? — переспросила его переводчица, напуганная его громким, почти срывающимся на крик голосом.

— Так и переводи, — повелел ей дед Витя. — Ему не помешает, — а сам он из-за деревьев и кустов испытующе посмотрел на полицейского и Артёма.

И посмотрел не зря. Те, почуяв, что на кладбище дед Витя затевает что-то неладное, побросали папироски и устремились на подмогу и выручку немцу.

Подшли они как раз вовремя. Немец еще не успел до конца понять все-таки сбивчивый и утаенный пересказ слов деда Вити, как они были уже возле могил.

— Ты опять! — закричал на него Артём, чувствуя себя здесь, на кладбище, самым большим и ответственным начальником. — Выпил — и давай домой! Нечего тут разоряться!

— Давай, давай! — принял помогать Артёму и полицейский, натренированно отгалкивая деда Витю от ограды на тропинку.

Но тот не поддался ни Артёму, ни полицейскому.

— Вы меня не погоняйте, не запрягали! — уже во весь замах руки вскинул он на них посошок.

Полицейский с Артёмом стали соображать и вполголоса советоваться, что им делать дальше с распоясавшимся стариком: брать уговорами или силой, а дед Витя тем временем, указывая немцу на пустырь и поминальные столы, опять прикрикнул на него:

— Цюрюк! Шнель цюрюк!

Он сам не мог понять, почему ему вспомнилось еще одно немецкое, лающее и холодное, будто ледышка, слово. Но вспомнилось, и он произнес его еще раз и еще и повторно указал немцу на пустырь:

— Цюрюк коммен — пошел назад!

Когда дед Витя привел немца к столам, поминки-торжество уже заканчивались. Поминальщики, разбившись на мелкие смешанные группки, громко переговаривались, похлопывали друг друга по плечам, обнимались, выпивали “на посошок”.

Немец-старик, высвободившись из-под конвоя деда Вити, неожиданно быстрым шагом занял свое место за столом и тоже потребовал налить себе рюмку. От нашего губернатора поспешный этот шаг и болезненно, по-старчески вздрагивающая в его руке рюмка не укрылись. Оставив деда Витю одиноко, словно на юру, стоять в междурядье столов, губернатор поздравил к себе Артёма и принялся допрашивать его, дознаваться правды:

— Что там?!

— Так что! — переступил с ноги на ногу Артём. — Не надо было его сюда звать — один скандал. Я же говорил.

Артём начал было более подробно рассказывать губернатору обо всём случившемся на кладбище, но не дошел и до середины, как дед Витя вдруг оборвал его, перебил на полуслове и, указав посошком вначале на старика-немца, так и не успевшего еще выпить своей успокоительной рюмки, а потом, через столы и голову губернатора, на земляные бугорки с надгробными бетонными сваями:

— Кол им осиновый, а не могилы! Вот что!

Русская часть застолья замолчала и как бы в единый миг протрезвела, а немцы, не понимая слов деда Вити, но чувствуя, что тот сказал что-то злое и грубое, разрушающее всё торжественно-печальное мероприятие, начали настойчиво переспрашивать, терзать переводчиков. Но те с переводом опять замешкались: во-первых, не зная, как перевести заплотный этот крик деда Вити (в немецком языке подобного выражения насчет осинового кола не существует), а во-вторых, не зная, надо ли вообще его переводить. Они ждали указания, а еще лучше бы какой-нибудь подсказки от губернатора, которая могла бы вывести их из неловкого, затруднительного положения. Но губернатор в негодовании на деда Витю и на Артёма с полицейским, не сумевшим справиться с подвыпившим стариком и увести его домой, и даже на своего соседа, немецкого губернатора, в первую очередь потребовавшего перевода, сам пришел в замешательство. Растерялись и такие верные и надежные во всех иных случаях помощники и советники губернатора. Они начали прятаться за его спиной и незаметно рассеиваться и таять в толпе.

Побагровел до цвета лампас и наш, основательно выпивший генерал (теряться ему не полагалось по высокому своему воинскому званию и должности). Он, словно беря в самый трудный момент сражения, когда командующий фронтом, а может быть, даже и сам верховный главнокомандующий погибли, всё руководство битвой на себя, крикнул что-то грозное полковнику-полицейскому, который окаменело стоял в торце стола. Но окрик этот на полковника никак не подействовал: военный общевойсковой генерал не был для него прямым начальником, и выполнять его приказания тот не был обязан.

И тут вдруг всех выручил наш неприметно-робкий батюшка. Он проворно выбрался из-за стола и, будто прикрывая от деда Вити застывшее в тревоге и испуге застолье широкой своей скуфейкой и клобуком, подошел к нему.

— Так нельзя, — ласково и тихо сказал он деду Вите. — Все мы люди...

— Вам, может, и нельзя, а мне можно, — перебил и батюшку на полуслове дед Витя.

Батюшка столь дерзкому ответу не смутился, он взял в руки наперсный крест и сказал еще тише и проникновенней:

— Бог прощал врагам своим и нам велел.

— Я за Бога не в ответе! — не внял и этим молитвенным словам батюшки не очень-то богомольный по природе своей и прожитой жизни дед Витя. — Где он был в войну? У немцев тоже на ремнях было написано “С нами Бог”.

Батюшка креста из рук не выпустил и, наверное, через минуту-другую нашелся бы, чем утешить и унять разгневанного старика (в его служении бывали еще и не такие случаи). По крайней мере, уговорить деда Витю уйти домой и не разрушать собрания, может, и справедливыми, но необдуманными и не вовремя сказанными словами батюшка смог бы и сумел. Да дед Витя и сам уже собирался уходить, краем глаза увидев, что, спрямляя дорогу, бежит от деревенского их дома к кладбищу Ольга Максимовна, которой поди вернувшиеся с похорон серпиловцы уже рассказали, что дед Витя там воюет и наводит смуту. А может, Ольга Максимовна и без подсказки сама обо всем догадалась. К его негодованиям и ярости она приучена и чует их на самом дальнем расстоянии.

Но надо же было такому случиться, что именно в эти минуты из заблоченной опушки березняка, завершив там все земляные работы, вкрадчиво возвращался на место стоянки за палаточным городком строителей тяжелый гусеничный трактор-бульдозер. Как раз напротив деда Вити он замер, и тракторист-казах, не выключая мотора, подбежал с докладом к прорабу, который тоже уже пристроился за поминальными столами.

Дед Витя вспаленно глянул на этот оранжево-красный, робко, словно боясь грозного окрика начальства, работающий на самых малых оборотах трактор, на его широко распахнутую дверцу и вдруг, оттолкнув на ходу нескольких поминальщиков, в два-три шага оказался возле него. Привычно, как не раз это делал в молодые свои годы, когда подменял трактористов, он взобрался в кабину, захлопнул дверцу и, опустив на землю многотонный, весь еще в комьях сырого кладбищенского грунта нож, круто развернул бульдозер вначале на поминальные столы, а потом и дальше, прицельно метя на заглавную правофланговую немецкую могилу.

— Кол вам синовый, а не могилы! — еще раз крикнул он, цепляя ножом и подминая гусеницами сияющий хрустальями, фарфором и дорогими бутылками стол президиума.

Поминальщики, вся хмельная, загульная толпа, не взирая на должности и ранги, толкая друг друга, бросилась из-под ножа и гусениц врассыпную. В первые мгновения никто не мог сообразить, что случилось и как остановить этот, словно сам собой, без человеческого участия сорвавшийся с места и теперь изничтожающий все на своем пути трактор. Но потом с одной стороны бульдозера кто-то из самых отчаянных милиционеров-полицейских, а с другой — обронивший где-то на ходу шляпу Артём попробовали вскочить на подножку трактора, распахнуть дверцу и вытащить из кабины, кажется, совсем потерявшего разум деда Витю. Но дверцы никак не поддавались им, и спасатели, теперь уже боясь за свои собственные жизни, спрыгнули на землю, едва не поломав себе ноги и не свернув шеи.

А дед Витя, расправившись со столом, тем временем медленно и неостановимо подвигался к правофланговой, уже чуть подернутой пылью и засыпанной вокруг бетонного столбика березовыми листьями могиле. Еще бы минута-другая, и он снес бы ее ножом, а потом подмял бы и сравнял с землей гусеницами. Но в последнее мгновение, словно из-под этой земли, перед ним вырос и встал во весь свой громадный рост немец-старик. Стоял он прямо и бесстрашно, широко расставив ноги, как привык это делать в молодые свои годы, когда был верным и надежным солдатом вермахта. Лакированную палку немец положил на оброненный на грудь фотоаппарат и цепко обхватил ее по краям покрасневшими от напряжения и потерявшими старческие пятна руками. Соединившись в одно целое, фотоаппарат и палка воочью напоминали немецкий автомат-шмайссер, а за поясом у старика, в прорехе распахнутого плаща деду Вите почудилась еще и граната на длинной точеной ручке. Но дед Витя ничуть не испугался и не заробел бывшего немецкого пехотинца (а может, и вправду эсэсовца), с его шмайссером и гранатой. Ничего они сделать не могли ни против его самого, ни против тяжёлого, напоминающего русский танк-тридцатчетверку трактора. Не уклоняясь от наведенного дула автомата и остекленевшего взгляда немца, дед Витя все ближе и ближе подвигал к могиле грозно блестящий сталью нож бульдозера. Остановил он его лишь в нескольких сантиметрах от старика, едва не придавив ему но-

ги, обутые в твердокожаные с высокой шнуровкой ботинки. Распахнув дверцу, дед Витя выбрался из кабины и, ни разу не оглянувшись на немца, пошел, пособляя себе посошком и поскрипывая протезом, навстречу Ольге Максимовне, которая уже почти подбежала к столам.

Толпа поминальщиков расступилась перед ним, образовав живой коридор, и никто в этой толпе не знал, что же делать с разгневанным дедом Витей: не знали ни губернаторы (наш и немецкий), ни оба протрезневших генерала, ни даже священники — протестантский пастор и наш православный батюшка. Они лишь растерянно смотрели друг на друга да теребили в руках наперенные кресты, с которых скорбно взирал на окрестный мир распятый Иисус Христос.